

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

ГОД ЖИЗНИ
повесть

ДОРОГИ,
КОТОРЫЕ
МЫ ВЫБИРАЕМ
роман

Карельское книжное
Издательство
Петрозаводск-1963

Пафос современности, воспроизведение творческого духа нашей эпохи, острая постановка морально-этических проблем — таковы отличительные черты произведений Александра Чаковского — повести «Год жизни» и романа «Дороги, которые мы выбираем».

Автор рассказывает о советских людях, мобилизующих все силы для выполнения исторических решений XX и XXI съездов КПСС.

Главный герой произведений — молодой инженер-туннельщик Андрей Арефьев — располагает к себе читателя своей твердостью, принципиальностью, критическим, подчас придирчивым отношением к своим поступкам. В образе Андрея Арефьева — энергичного, волевого, смелого человека, непреклонного в достижении цели, — воплощены лучшие черты нашего современника.

Диалогия написана в форме записок молодого инженера, дающей автору возможность с особенной эмоциональной непосредственностью передать драматизм возникающих ситуаций. Разоблачение карьериста Крамова, борьба за новое техническое решение строительной задачи, глубокие личные переживания, вызванные крушением веры в любимого человека, — все это автор переплетает в напряженном, увлекательном сюжете...



ГОД
ЖИЗНИ



1



приехал в Заполярск в июне 1954 года.

В городе была только одна гостиница, если не считать Дома рыбака, всегда переполненного.

Гостиница тоже оказалась набитой битком. Нельзя было получить ни номера, ни койки.

— Ждите, — сказала дежурная, — к утру, может, рассосется...

Оставив у дежурной паспорт и чемодан, я вышел на улицу.

В небольшом сквере рядом с гостиницей, несмотря на поздний час, сидели и бродили люди. Не сразу удалось найти свободную скамейку.

Вид отсюда открывался замечательный. Прямо передо мной расстился морской залив, от него веяло холодом.

В порту дымили пароходные трубы. Подхваченные подъемными кранами, взмывали в воздух грузы.

Солнце все еще высоко стояло над горизонтом, вода залива рябила в его лучах; на противоположном берегу виднелись в розовой дымке черные горы с узкими снежными прожилками.

Шел двенадцатый час ночи, но город не спал. По скверу и улице гуляли люди. На соседней скамейке примостился какой-то парень и читал книгу.

Я пошел бродить по городу.

Город был большой и разбросанный. Я двинулся вдоль широкой улицы, застроенной новыми трех- и четырехэтажными домами, и вышел на пустырь. Здесь со скрежетом и лязгом два экскаватора рыли большой котлован. Вокруг стояли зрители, опуская и поднимая головы вслед за движениями экскаваторного ковша.

Мимо меня прошли, чуть пошатываясь, три моряка рыболовного флота. Они свернули к гостинице. На скамейках и крылечках сидели парни и девушки. Из открытых окон неслись звуки радиол. На пустырях ребята играли в мяч, перекидывая его по кругу. В тире, который почему-то назывался «аттракцион», щелкали выстрелы мелкокалиберных виптовок.

Надо было дать телеграмму в Москву. Текст я написал еще в вагоне, когда поезд подходил к Заполярску. Отправить ее нужно было немедленно: слишком много надежд у меня было связано с ней.

На телеграфе тоже было оживленно. У окошка телеграфистки стояли в очереди всего пять-шесть человек, но междугородный телефон осаждали человек двадцать. Особенно много было здесь рыбаков. Их сразу можно было узнать по фуражкам с «крабами». Кое-кто был явно навеселе. Клиенты наперебой требовали соединить их с Москвой, Ленинградом, Архангельском, Вязьмой, Подлипками, Щекотовкой и бог знает с какими еще пунктами, совали в окно пачки денег, заказывали «молнии» или «если есть, то сверх-пересверхмолнии», лишь бы разговор состоялся немедленно, «потому что завтра уходим в море и тридцать суток будем там болтаться, а телефон в море еще не провели».

Я протянул девушке телеграмму и внимательно следил, как она делала на ней пометки, а потом положила

листок на край стола. Я не уходил. Мне хотелось самому увидеть, как унесут телеграмму в аппаратную.

Но стоящие сзади зашумели.

Я вернулся в гостиницу.

Люди по-прежнему бродили взад и вперед по коридору. Не хватало стульев и кресел. Я пробрался между загромодившими коридор чемоданами, ящиками, тюками к окошку дежурной. Мне повезло.

Номер оказался небольшой комнаткой с железной кроватью, тумбочкой, одним стулом и черной тарелкой репродуктора на степе.

Мне предстояло провести здесь ночь. Поезд к месту моей работы отправлялся из Заполярска завтра вечером.

Штор на окне не было, солнце светило по-прежнему, и я не мог заснуть.

Да и в полной темноте мне это не удалось бы...

Я стоял у порога жизни, новой жизни. Чувства радости, тревожного ояндания, больших надежд охватили меня.

Подопел к окну.

На небе появились облака. Солнце стало красным и отчетливо круглым. Подсвеченные солнцем, резко выступили края облаков. По светящейся, похожей на расплавленный металл воде залива плыл небольшой парход, и казалось, что он с минуты на минуту загорится...

В маленький рабочий поселок я добрался через сутки.

Помню, как стоял я на узкой улочке. Светило солнце, полярный день был в самом разгаре. Но часы показывали около полуночи. У нас в обычный летний безоблачный день солнце желтое, раскаленное добела. Здесь оно было красное, точно огонь в светлых сумерках.

Поселок окружали черные, безлесные горы. Кое-где со склонов сбегали узкие снежные дорожки, извилистые, словно ручейки. Казалось, что там, в просветах гор, не туман, а бескрайнее холодное море, и горы плывут в нем, как диковишные черные айсберги.

Но никакого моря здесь не было — многие десятки километров отделяли меня от Северного океана. Глазам открывался только туман, чуть подкрашенный светом солнца...

Но я находился на Севере, за Полярным кругом, на краю земли. И раз уж я приехал сюда, мне хотелось найти здесь все — и снега, и медведей, и холодный океан, и полярный день, и полярную ночь.

По обе стороны улочки тянулись редко поставленные деревянные дома. Между ними росло какое-то белесое, напоминающее высокий мох растение, в ту пору я еще не знал, что это ягель — любимый олений корм.

На улице было пустынно — в поселке жили рабочие рудника. Те из них, кто не работал сейчас в горе, уже спали.

Откуда-то издалека, вероятно из открытого окна, доносились звуки радио. Послышались приглушенные удары кремлевских часов. Было странно и как-то очень непривычно слушать их полуночный бой при незаходящем солнце.

Я переночевал в маленькой гостинице и рано утром отправился в управление горного комбината.

В отделе кадров, сдав путевку секретарю, стал ждать вызова к начальнику отдела.

Минут через десять тонкая, неровно обитая серым пузырящимся дерматином дверь кабинета открылась, и оттуда вышел человек в сапогах, бриджах и расстегнутом пиджаке, из-под которого видна была расшитая украинская рубашка, подпоясанная тонким кавказским ремешком. Под мышкой этот человек держал картонную папку.

Еще с порога он спросил меня:

— Инженер Арефьев?

Я почувствовал, как загорелось мое лицо. Да, месяц тому назад я стал инженером, но никто еще до сих пор не называл меня так всерьез, да еще обычным, будничным голосом.

— Пройдете к директору комбината, — сказал, не дожидаясь моего ответа, начальник отдела кадров. — Ваше личное дело уже получено из института.

Он похлопал ладонью по прижатой локтем папке и, выходя в коридор, обернулся.

— Зачем же вы чемодан-то берете с собой? — недоуменно спросил он, увидев, что я, растерявшись, подхватил свой чемодан.

Мы поднялись по цементной леснице на второй этаж и пошли по длинному коридору. И все время, пока мы

шли, в ушах моих звучали только два слова: «Инженер Арефьев! Инженер Арефьев!»

Как это здорово звучит! «С вами говорит инженер Арефьев... Передайте, что инженер Арефьев распорядился...»

Я оборвал поток своих восторженных мыслей, потому что мне показалось, будто я произносил их вслух. «Дурак, мальчишка!» — обругал я себя и украдкой взглянул на начальника кадров.

Но он, конечно, ничего не слышал. Он шагал несколько впереди меня, наклонив бритую голову и чуть вытянув шею, точно собирался кого-то забодать.

Перешагнув порог кабинета, я увидел директора. Большой, грузный, он сидел за несоразмерно маленьким письменным столом. На другом, поменьше, стояли телефоны — два обычного типа, один полевой и микрофон.

Начальник отдела кадров встал за спиной директора.

— Ну, садись! Чего же стоишь? — приветливо, но все же, как мне показалось, чуть иронически сказал директор, перелистывая мое личное дело. У него неожиданно для его комплекции оказался тонкий голос. — Присаживайся, — повторил директор, кивая на стул. — Когда прибыл?

Продолжая перелистывать мои анкеты и характеристики, директор бормотал, изредка взглядывая на меня:

— Так... Московский транспортный... Кандидат партии... Не женат... Не женат? — переспросил он. — Ну чего ж краснеешь? Жениться легко, разжениться труднее... Тут в характеристике написано, что ты сам вызвался ехать в наши края. Верно?

— Просил, чтобы послали в Заполярье, — сказал я.

— Ну и молодец! А почему так тихо говоришь? Горняк должен громко говорить. Инженер-туннельщик — большое дело! Послушай, — вдруг спросил директор, резко захлопывая папку и пренебрежительно отодвигая ее в сторону, точно совсем никчемную вещь, — а может, в горы пойдешь, на рудник? Тоже ведь наша епархия. Во-первых, к поселку ближе, кино там, танцы, девушки, «шайба»... Ты водку пить еще не научился?

И, не дожидаясь моего ответа, обернулся к начальнику кадров:

— Меня на днях министр честил. «Что это, говорит, у тебя питейная стихия разгулялась в Заполярье?»

Кончать надо с этим предрассудком, будто если ты горняк, да еще на Севере, то, значит, и пить должен...»

— Недостаточно развернута массово-культурно-воспитательная работа,— спокойно отозвался начальник.— Сказывается удаленность от культурных центров.

— То-то вот, удаленность! — проворчал директор. И, снова обращаясь ко мне, спросил: — Как же насчет рудника? Нам инженеры и там нужны. А туннель от рудничного поселка в восьми километрах. Зимой заносы, неделями до нас не доберешься. Как медведь в берлоге жить будешь. Решай!

Я почувствовал себя как человек, который рвался на фронт, дождался наконец назначения и вдруг, уже добравшись до места, посылается служить в тылу, в безопасности, поближе к штабам.

— Нет,— твердо сказал я.

— Что?

— Нет! — крикнул я уже настолько громко, что сам смутился.

— Ну вот, теперь слышу, голос подходящий! — усмехнулся директор.— Значит, туннель?

— Да, я туннельщик и хочу строить туннели,— подтвердил я, стараясь говорить спокойно и рассудительно, чтобы сгладить невыгодное впечатление от моего мальчишеского выкрика.

— Молодец,— похвалил директор,— правильно решил! Да я тебя все равно на туннель послал бы. Нам этот туннель вот как нужен! — он провел по горлу ребром ладони. Потом с внезапной легкостью встал.— Задачу знаете? — спросил он, переходя на «вы» и уже другим, официально-деловым тоном.

Я хотел ответить «знаю», потому что в министерстве мне более или менее подробно разъяснили назначение строящегося туннеля. Но сказал:

— В общих чертах...

— Пока не приедете на место, вам все будет представляться в «общих чертах»... Словом, об этом поговорите с главным инженером.

— На какой сейчас стадии проходка? — спросил я.

— На низшей. Если иметь в виду участок, на котором вам предстоит работать. На западном проходка уже начата. С понедельника начнем забрасывать людей и оборудование и к вам, на восточный. Ваша задача — как можно

скорее начать проходку передовой штольни, догнать Крамова.

— Еще один вопрос,— сказал я.— В качестве кого мне предстоит работать?

— Как это «в качестве кого»? — недоуменно переспросил директор.— Начальником участка! А ты о каком «качестве» думал?

Я закашлялся, чтобы скрыть свое волнение. Такого ответственного назначения я не ждал.

Мое замешательство не прошло незамеченным.

— Честно говоря,— сказал директор,— мы рискуем, конечно. Должность ответственная. Верю в твой диплом с отличием и характеристику, которую профессор Макашов подписал. Все мы по его книгам учились...

Директор побарабанил пальцами по столу и добавил:

— Пока назначим «и. о.», — и я подумал, что директор решил это именно сейчас, на ходу, разглядывая меня.— Проявишь себя — мы эти буковки откинем.

Он нагнулся к микрофону и сказал неожиданно низким голосом:

— Диблетчер... Найдите начальника управления строительства!

На столике зажглась зеленая лампочка, и спрятанный где-то за столиком репродуктор прогудел:

— Фалалеев слушает...

— Вот что, Фалалеев,— сказал директор,— к нам прибыл инженер новый.

— Ясно! — ответил репродуктор.

— Из Московского транспортного, по путевке,— продолжал директор.

— Ясно,— уже каким-то другим, упавшим голосом откликнулся репродуктор.

— Будет работать на туннеле...

— Павел Семенович,— перебил невидимый Фалалеев,— а может, его на рудник? Посмотрит, поучится. Ну зачем его, щенка без опыта, на туннель? Ведь тыкаться будет...

Директор, ожесточенно передвигая микрофон по столу, крикнул:

— Ну, мы с тобой тоже щенками были! Ясно?

— Ясно... — со вздохом согласился репродуктор.

— Так вот, дай команду в понедельник отвезти его на участок. Сам отвези! — с какой-то внезапной злостью сказал директор и затем буркнул уже вполголоса: — У меня все.

Он еще раз сердито толкнул микрофон и, не меняя тона, сказал мне:

— Пройдите к главному инженеру.

Начальник отдела кадров взял со стола папку с моими бумагами и аккуратно сложил листки. Мы подошли к двери, когда я снова услышал голос директора:

— Желаю успеха.

Весь день я провел в комбинате и в гостиницу вернулся только поздно вечером.

Дежурная сидела в дальнем, темном углу, за покрытым газетой столом. За спиной ее стояло чучело бурого медведя. Медведь поднялся на задних лапах, а передние вытянул вперед, над головой дежурной, точно охранял или стерег ее. Только сейчас я заметил, что на его вытянутые лапы кто-то надел толстые синие рукавицы. Это было очень неожиданно и смешно.

Меня мучил голод, и я спросил, нет ли при гостинице буфета. Дежурная, пожилая суровая женщина в платке, ответила, что буфета нет, а жильцы завтракают и обедают в комбинатской столовой.

— А ужинают? — спросил я.

— Вредно ужинать-то, врачи говорят, — ответила дежурная без улыбки. Есть такие строгие люди: когда они шутят, их лица становятся еще суровее.

— Значит, нет такого места, где можно бы перекусить? — спросил я.

— Ну разве что в «шайбе».

— Что за «шайба» такая?

— Ну, забегаловка, пивная, шалман, по-русски сказать, — дивясь моему незнанию, объяснила дежурная.

— А почему же все-таки «шайба»? — весело продолжал я расспрашивать, чувствуя, что возникает надежда хоть немного утолить голод.

— Форму имеет такую, похожа на шайбу. Да ты ступай вниз по проспекту — и километра же пройдешь, как увидишь ее.

То, что она назвала узкую поселковую улицу проспектом, и то, что пивная построена здесь в таком «индустриальном» стиле, окончательно развеселило меня.

— Еще вопрос, — спросил я, — зачем медведю рукавицы надели?

На суровом, точно каменном лице дежурной появилось наконец что-то вроде улыбки. Она сказала:

— Здороваются с ним постояльцы. Придет — здравствуй, уходит — прощай. И все за лапу, все за лапу... А если который из «шайбы» воротится, так лапу, почитай, целый час трясет. Никакая лапа не выдержит. Вот директор и велел рукавицы надеть.

— Прекрасная мысль! — воскликнул я, едва удерживаясь от смеха, и, выйдя из гостиницы, направился вниз по «проспекту».

«Шайба» стояла на пустыре, в конце «проспекта».

Это была странная и несуразная постройка. Собственно говоря, она напоминала не шайбу, а скорее большую нефтяную цистерну.

Выкрашенная в зеленый цвет пивная не имела окон. Стены ее были сплошными, дверь же, очевидно, выходила на противоположную от меня сторону.

Сквозь стены, точно из огромного улья, доносился неясный, глухой шум.

Я обогнул «шайбу», нашел дверь и открыл ее.

Очень странно попасть из полярного дня сразу в вечерний сумрак. На улице была ночная тишина, особенно ощутимая при свете солнца. Здесь же на меня обрушился многоголосый шум, звон посуды и всхлипы пивного насоса. Было прохладно и сыро.

Сначала я ничего не мог разглядеть, кроме маленькой, тускло горящей лампочки, болтающейся на обрывке шнура. Ее обволакивали клубы табачного дыма. Потом из дымного тумана вылились огромные пивные бочки, поставленные вдоль стен и заменяющие столы. У каждой бочки стояло по несколько человек. Почти все они были в ватниках или брезентовых куртках и в резиновых сапогах.

Бочки были расставлены полукругом, по обе стороны прилавка, сбитого из некрашенных досок. На прилавке, на жестяных тарелках, коробились кусочки сыра, доснилась копченая колбаса. А над всеми этими яствами возвышалась толстая женщина с рябоватым лицом и очень толстыми губами. Она была в грязноватой белой куртке, надетой поверх ватника, отчего казалась еще более толстой.

Я подошел к прилавку.

Женщина восседала на бочке, точно на троне, а справа от нее высилась другая бочка, очевидно с пивом; из нее торчал пивной насос. У стойки стоял человек с пенящейся кружкой пива в руке, и буфетчица наливала ему водку в зеленоватый граненый стакан.

Потом она взяла со стойки пустую кружку и стала накачивать в нее пиво. При каждом движении ее руки насос попеременно то всхлипывал, то скрипел.

Буфетчица ткнула в меня кружкой, наполненной пивом.

Я почувствовал себя как-то очень растерянно в этой непривычной обстановке и пробормотал:

— Нет... Простите, если можно, несколько бутербродов.

Женщина чуть приподняла свои белесые брови, потом взяла с невысокой стойки жестяную тарелочку, положила на нее бутерброды и все так же молча поставила тарелку передо мной.

— Спасибо,— сказал я.— Если можно, я возьму их с собой. Вот у меня и бумага есть...

И, вытащив из кармана газету, я стал завертывать в нее бутерброды.

— Э-э, так дело не пойдет! — вдруг раздался громкий голос.

Это произнес один из посетителей, стоящих у ближней к стойке бочки,— молодой, весь серый от каменной пыли, в ватных штанах и в расстегнутой, надетой на голое, тоже серое тело брезентовой куртке. Он был уже слегка пьян.

— На вынос наша фирма не торгует,— продолжал парень.— Или, может, считаете, что компания для вас грязновата?

Не успев завернуть свои бутерброды, я недоуменно посмотрел на него.

— Или, может, капиталы не позволяют? — еще громче спросил парень.— Марь Петровна, кружку пива с коротким хвостом начальнику! Горняк угощает!

— Нет, почему же? Зачем вы так? — сказал я, положив бутерброды на тарелку.— Я совсем не поэтому... Только я хотел... А впрочем, дайте мне, пожалуйста, кружку пива,— неожиданно для самого себя громко обратился

я к буфетчице и добавил потише: — Только водки не надо.

Парень в куртке плечом потеснил своего соседа, освобождая мне место. Я протиснулся к бочке.

У соседней бочки шел громкий разговор, люди о чем-то спорили, перебивая друг друга, говоря о плангах, тросах и рогачах, которых «ни в горе, ни под горой не сыщешь», ругали какую-то парядчицу: «Злая, ух злая, аж зубы у нее трясутся...»

Но за нашей бочкой, как только я подошел, наступила настороженная тишина. Люди замолчали, едва я поставил свою кружку. Бутерброды я держал в руке — на днище бочки для них уже не нашлось места.

Парень в куртке, падетой на голое тело, поднял стакан и громко сказал:

— Ну, будем веселы!

Все подняли стаканы, а я свою кружку.

— Принимаете? — спросил меня тот, что стоял напротив, пожилой, усатый человек в ватной куртке, также покрытой каменной буровой пылью.

— Что? — переспросил я.

— Американский напиток коктейль, а по-нашему православный ерш,— сказал усатый и сделал движение, будто наливает водку в пиво.

— Нет, нет! — окончательно смутился я.— У меня только пиво... без водки. Да я и пива-то не хочу...

— Пиво, друг, в напих краях только на закуску идет,— внушительно сказал третий из моих соседей, человек с большим красным шрамом на лице, точно от ожога.

— Я понимаю... — пробормотал я и поднес кружку к губам.

Пил я долго, не отрываясь, и украдкой поглядывал на соседей, стараясь установить, наблюдают они за мной или нет.

Это нелегкое дело — залпом выпить большую кружку холодного пива, однако я допил до дна и, со стуком поставив пустую кружку на бочку, спросил:

— Породку бурите, товарищи?

— В балете танцы танцуем,— ответил парень в куртке на голое тело.

— То мы ее, то она нас бурит, — проговорил усатый, игнорируя насмешку парня и прямо отвечая на мой вопрос.

— Это как же — она вас? — спросил я.

— Да очень просто! — вступил в разговор человек со шрамом. — Без бура бурит. Мы ее буром, а она нас так, запросто.

— Крепка порода? Ийолиты? — продолжал я расспрашивать.

Усач промолчал. А парень в ватнике хитро подмигнул остальным и протянул нараспев:

— Эх, д'расскажи, расскажи, бы-ра-дя-га... Расскажи, расскажи, гражданин интересуетса, — закончил он уже скороговоркой.

— Да нет, товарищи, — поспешно сказал я, чувствуя, что разговора не получается. — Не хотите рассказывать — не надо. Просто я вижу, что вы с горы, бурильщики, пришли прямо с работы...

Эти слова внезапно произвели на людей совершенно неожиданное и непонятное мне впечатление. Парень в брезентовой куртке повернулся ко мне всем телом, распахнул куртку и, упершись руками в голые бока, зло проговорил:

— Одежка, говоришь, неподходящая? А что ж нам, в «шайбу» идучи, тройку надевать, что ли? Галстуки-бабочки?

— Тихо, не заводись! — угрюмо одернул его человек со шрамом. — А только форсить нам действительно негде. Да и не перед кем...

— Да что вы, товарищи! Зачем вы так нехорошо поняли? — громко перебил его я. — Завтра, может быть, и я так же выглядеть буду. Я ведь на работу сюда прибыл, на строительство туннеля. И вот...

— На туннель?! — с преувеличенной радостью воскликнул мой сосед в брезентовой куртке. Он был уже сильно пьян. — Сам прибыл?

— То есть как это «сам»? — недоуменно переспросил я.

— Ну, тогда выпьем! — все с тем же оживлением и не разъясняя своего вопроса, сказал парень, ударил ладонью по бочке и крикнул буфетчице: — Марь Петровна, заложите двести пятьдесят взрывчатки в этот шнур! — и он показал на мою пустую кружку.

И тогда я сказал, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно грубее и независимее:

— Тогда всем... Я угощаю!..

Но буфетчица не расслышала ни меня, ни моего соседа — резкие аккорды баяна заглушили все голоса. Кто-то играл у дальних бочек, и при первых же звуках мой сосед скинул прямо на пол свою куртку и, голый по пояс, выскочил из-за бочки, ударил в ладоши и под аккомпанемент баяна стал отбивать «цыганочку». Он был в резиновых сапогах, поэтому чечеточной дробы не получалось, слышалось только ритмичное чавканье подошв.

Кое-кто лениво, нехотя взглянул на пляшущего парня, как смотрят на давно уже знакомое, привычное и надоевшее зрелище, а большинство даже головы не повернули.

Парень плясал дико и самозабвенно. Несколько раз он сбивался с ритма, но не старался снова войти в него. Казалось, ему даже хочется «оторваться» от баяниста и от самого себя, вырваться куда-то на простор.

В эту минуту раздался сильный взрыв, потрясший и пол, и бочки, и лампочку на грязном шнуре.

Я вздрогнул от неожиданности. А взрывы, тяжелые, глубокие, следовали один за другим.

Люди при первом же взрыве почти одновременно и привычным, видимо, движением чуть приподняли над бочками свои кружки.

Никто как будто бы и внимания не обратил на эти удары. Баян продолжал играть, парень — плясать.

— Порода на руднике рвут, — сказал человек со шрамом, обращаясь ко мне. Усмехнулся и добавил: — А вы, может, подумали, что бомбят?

— Ничего не подумал, — буркнул я и тотчас же сказал себе: «Ну, теперь все. Надо уходить».

Я уже подходил к двери, когда она широко распахнулась и на пороге появился человек в синем промасленном комбинезоне. Несколько секунд, загоразивая мне проход, он постоял в дверях, наблюдая за пляской, потом громкогласно объявил:

— Такси подано! — И пошел к стойке.

Буфетчица уже накачивала для него кружку пива.

Я вышел на улицу. У пивной стояла трехтонка с опущенными бортами. Кабина была пуста. Очевидно, человек в комбинезоне — шофер.

Несколько минут я стоял, глядя на красное, точно воспаленное солнце, медленно плывущее между вершинами гор.

Хлопанье двери заставило меня оглянуться.

Люди парами и в одиночку медленно вываливались из пивной. Подойдя к машине, они стали взбираться в кузов.

Некоторым удавалось сделать это самостоятельно, других подсаживали товарищи. Трех положили «павалом».

Наконец, на ходу вытирая с губ пивную пену, появился шофер. Он безучастно и, как мне показалось, чуть иронически наблюдал за погрузкой.

Мы стояли рядом. Я спросил:

— Куда это вы их повезете?

— Спецрейс делаю, — охотно отозвался шофер.

Было похоже, что он в душе посмеивается надо мной.

— Куда же вы их этим спецрейсом? — продолжал я спрашивать.

— К месту работы, на Туннельстрой.

— На Туннельстрой?! — воскликнул я.

— Точно. Доставка к месту работы, на западный участок.

Решение созрело во мне внезапно. Я подумал: какой смысл болтаться до понедельника в этом поселке?

Я поддержал борт машины, пока шофер закидывал скобу, и сказал решительно:

— Послушайте, товарищ. Моя фамилия — Арефьев, я инженер, назначен на Туннельстрой. Можно поехать с вами?

— Влезайте, места хватит, — ответил шофер.

— Только у меня чемодан в гостинице... Тут всего метров пятьсот...

— Садитесь в кабину, — сказал шофер, доставая из-под сиденья «концы» и вытирая ими руки.

У гостиницы шофер остановил машину, не заглушая мотора.

Я забежал на минуту в комнату общежития, схватил чемодан. Сидящая под распростертыми медвежьими лапами дежурная окликнула меня:

— Куда вы?

— На туннель! — весело ответил я. — До свидания!

Потом, помню, схватил медведя за лану и попрощался с ним...

Мы быстро миновали поселок и теперь ехали по узкой грунтовой дороге, огибающей гору. Параллельно дороге тянулось железнодорожное полотно.

Я напряженно всматривался, в ожидании, что вот за поворотом откроется какой-то новый, никогда не виденный мною пейзаж.

Тщетное ожидание! Машина все время поворачивала только влево, поэтому с левой стороны и отчасти впереди я видел ту же покрытую редкой растительностью гору, которую мы огибали, а справа — линию железной дороги и за ней беспорядочные нагромождения валунов, а еще дальше — снова горы, похожие друг на друга.

Однообразие пейзажа не угнетало меня. «Что меня ждет? — думал я. — Пройдет еще несколько минут — и я буду на месте, где предстоит начать новую жизнь».

Мне и в голову не пришло, что я поступаю опрометчиво, являясь на чужой участок около часа ночи, без всякого предупреждения и без Фалалеева, которому директор приказал отвезти меня в понедельник.

Да, я совсем не думал об этом. Одна мысль владела мной: как можно скорее оказаться на месте, расспросить обо всем, все разузнать, обследовать пачатую штольню, своими руками пощупать породу, сквозь которую мне придется пробивать туннель, — словом, начать действовать. Я спросил шофера:

— Как вы думаете, начальник участка еще не спит? Кстати, как его фамилия? Директор пазывал, только у меня из памяти вылетело...

— Николай Николаевич? Пока груз не доставлю, ни-почем не ляжет, — ответил шофер. — А фамилия его Крамов.

— Груз? Какой груз? — переспросил я и тут же спохватился. — Ах, это вы про пьяных... Послушайте, вы меня разыгрываете или всерьез говорите, что приезжали в «шайбу» специально за пьяными?

— Никакого тут не может быть розыгрыша, если я задание выполняю, — пожал плечами шофер.

— Чье задание?

— Николая Николаевича. Чье же еще?

— Не понимаю... Он вам поручил ехать за пьяными? Странная забота! Вы знаете, министр недавно говорил директору комбшата, что с пьянством здесь надо кончать...

— Насчет министра не знаю, а только Николай Николаевич не о пьяных заботится, а о производстве,— строго сказал шофер, и я почувствовал в голосе его обиду.

Но я совсем не хотел обижать ни его, ни Крамова, начальника западного участка, человека, с которым нам вместе, с разных, правда, сторон и навстречу друг другу, предстояло штурмовать гору. А насчет министра получилось у меня совсем уж не к месту.

— Ну, я вижу, вы своего Николая Николаевича любите! — шутливо сказал я. — И давно он в этих краях?

— На строительство прибыл так же, как и вы. Скоро месяц будет.

— И хороший, говорите, человек?

— Человек что надо.

Я позавидовал этому Крамову. Сумею ли и я работать так, чтобы люди сказали обо мне: «Человек что надо»?

И мне очень захотелось заставить шофера разговариваться, рассказать еще что-нибудь о Крамове.

Но шофер без всякого понуждения, с явной охотой сам заговорил о Крамове:

— К примеру, есть такие начальники, что ты для него не человек, а так, кадр... Народ у нас, к тому же, трудный... А Николай Николаевич до нутра добирается...

Я с нетерпением ждал продолжения, потому что любил читать или слушать рассказы о сильных, бывалых людях, умеющих завоевывать души людей. Когда-то моим любимым героем был фурмановский комиссар Клычков, а то место из «Мятежа», где описывается, как комиссар стоит лицом к лицу с разбушевавшейся людской стихией, я знал почти наизусть.

Часто случалось, что, читая «Мятеж» или «Как закалялась сталь», я отрывался от книги, закрывал глаза и думал: «Ну вот, поставь себя на место Клычкова, действуй! Как бы поступил ты? Какие нашел бы слова?..»

Из книг об Отечественной войне я больше всего любил такие, вернее — те места в них, где рассказывается о командире или комиссаре, прибывшем в новую часть, на трудный участок фронта.

Бойцы еще не знают его, может быть, в душе даже не доверяют ему, потому что им, обстрелянным в боях ветеранам, еще не известно, что за человек новый начальник.

И вот он совершает высокий поступок, находит сокровенные слова, которые подчиняют людей, больше того — заставляет людей полюбить его...

Такие места в книгах сильно захватывали меня, когда я еще учился в школе.

Понятно, что мне и теперь захотелось поподробнее узнать о человеке, который будет работать рядом со мной и который, по словам шофера, умеет «добираться до нутра».

А шофер продолжал:

— Вот, к примеру, с «шайбой» этой. Вызывает он меня в субботу — недели три назад дело было — и говорит: «Поедешь в поселок. Пивную «шайбу» знаешь?»

Ну, я смеюсь: кто же про такое дело у нас не знает?.. «Там наших ребят, говорит, много. Под нагрузкой им восемь километров шагать домой трудно. Поедешь часам к двенадцати, остановишься у «шайбы», народ соберешь и сюда доставишь. Ясно?» — «Что ж тут, отвечаю, неясного?» Но про себя думаю: «Новое это дело — пьяных по домам развозить».

Ну, поехал, остановился у «шайбы». За полночь первый из наших выползает. Ничего, идет на своих, только за стенку слегка держится. По-нашему, по-заполярному, это значит — вроде совсем трезвый. Увидел меня: «Вася, друг, подвези!» — Пожалте, — говорю. — За вами я прислали, лезьте, уважаемый, в кузов...» Так всех и привез.

Теперь уж знают: как войду — сами в машину лезут. Третью субботу езжу. Поняли расчет?

Признаюсь, крамовского расчета я себе не уяснил.

— При чем тут умение «добираться до нутра»? Ну, послал машину за подгулявшими людьми — эка дело!

— Э-е, нет! — откликнулся на мое замечание шофер. — Тут расчет серьезный. Попробуй оставь наших в поселке с субботы на воскресенье — они и к понедельнику не вернуться на участок. Вот тебе и прогул, и проходка спижается. А тут один рейс, пяти литров бензина не сожжешь, а люди на месте. И гулякам помощь и производству выгода. Понятно?..

Наконец передо мной открылась строительная площадка у подножия горы. На крыльце небольшого дощатого домика сидел человек и курил трубку. Завидев машину, он встал. Шофер посигналил. Человек помахал рукой. Машина остановилась.

— Приехали! — сказал шофер, поворачивая ключ зажигания и затягивая ручной тормоз.

Он заглянул в заднее оконце, убедился, что в кузове все в порядке, и выскочил из кабины навстречу медленно приближающемуся человеку с трубкой. Человек этот был в сапогах, брюках военного покроя, голубой сорочке и кожаной куртке, накинута на плечи. На вид ему можно было дать лет сорок.

Через открытое окно кабины я слышал слова шофера: — Всех доставил, Николай Николаевич, порядок!

Потом он оглянулся в мою сторону, понизил голос, но все же достаточно громко сказал:

— А этот к вам...

Он не релся назвать меня инженером: вероятно, у меня был не слишком-то солидный вид.

Я вылез из кабины.

Крамов сразу поправился мне. Открытое лицо, светлые волосы. Но больше всего привлекали его глаза — добрые и совершенно синие, как море, каким его рисуют на картинках для детей. Даже голубая рубашка в сравнении с цветом его глаз казалась блеклой.

Крамов не спеша, чуть вразвалку, шел мне навстречу и широко, дружелюбно улыбался.

Теперь всякая неловкость исчезла. Я сказал, протягивая Крамову руку:

— Инженер Арефьев. Назначен на восточный участок. Не мог усидеть в поселке до попельника, приехал к вам. Простите, что так поздно...

Крамов крепко пожал мою руку.

— У нас поздно никогда не бывает, — все с той же улыбкой ответил он. — Солнце спать не ложится, мы тоже. Сейчас потолкуем с вами, вот только архаровцы мои выгрузятся.

Шофер уже откидывал борт кузова. Я огляделся.

Чувствовалось, что на стройплощадке совсем недавно кипела работа.

По свежеврытым столбам тянулись телефонные провода. Их концы еще не успели подвести к дому, и они болтались в воздухе. У подножия горы чернел туннельный портал, из него выползали рельсы узкоколейки. Укладка рельсов еще не была закончена, они обрывались

у края площадки. Тут же, у штабелей заготовленных шпал, торчали воткнутые в насыпь лопаты и ломы.

Справа от портала я увидел одноэтажное деревянное здание барачного типа.

Из машины тем временем выбирались люди. Крамов прислонился к столбу и внимательно наблюдал за выгрузкой.

Я с удивлением заметил, что люди за время пути значительно протрезвели. Даже те, которых грузили в машину «навалом», теперь выбирались из нее без посторонней помощи.

В машине оказалось человек двенадцать — пятнадцать рабочих; все они, проходя мимо Крамова, здоровались с ним.

Одни из них держались робко и виновато, другие громко и независимо кричали:

— Николаю Николаевичу полярный привет!

Или по-шутовски низко кланялись ему.

А Крамов все так же стоял у столба с потухшей трубкой в зубах, кивал головой или бросал добродушно:

— Давай, давай, полярник!..

Наконец все рабочие, пройдя мимо Крамова, скрылись в бараке.

— Ставь машину, Василий, — сказал Николай Николаевич шоферу.

Потом обернулся ко мне.

— Вот и строй коммунизм с такими гавриками, — беззлобно сказал он, показывая трубкой в сторону барака. — Не то что коммунизм, а туннель дай бог построить... Ну, когда прибыл?

Вопрос его прозвучал как-то очень естественно и по-дружески.

Я поспешно ответил ему.

Разговаривая, мы подошли к домику. У крыльца Николай Николаевич чуть подтолкнул меня, пропуская вперед. Я поднялся по ступенькам и через узкие, маленькие сени вошел в комнату. Она сразу показалась мне уютной, обжитой. Простой, добротно сделанный, некрашенный, пахнущий свежим тесом стол стоял у окна, окруженный такими же некрашенными стульями. На столе я увидел подставку для трубок, она поблескивала темным лаком.

Рядом с большим зеркалом висел чертеж, изображающий гору в вертикальном разрезе, и какой-то график, аккуратно вычерченный на листке миллиметровой бумаги.

У стены стояла кровать, застеленная красным одеялом. Над ней висели фотографии — издали я не смог рассмотреть их — и спиннинг в футляре. Пол еще был свеж после мытья.

— Ну вот, теперь поговорим, — весело сказал Крамов. — Садись куда хочешь — на кровать, на стул... Словом, располагайся по-домашнему и рассказывай о себе.

С размаху опустившись на кровать, Крамов вытянул ноги, вытащил из кармана кисет, набил трубку и закурил. Он держал трубку в кулаке, поглаживая ее большим пальцем. Я сел на кровать рядом с ним, и меня сразу охватило чувство покоя. Точно шел-шел по неизведанной дороге, волновался, не знал, что встречу впереди, и наконец укрылся под надежным кровом.

И сразу же легко и просто я рассказал Николаю Николаевичу свою несложную биографию.

— Так... Значит, Московский транспортный окончил, — сказал Крамов, когда я выговорился. — В свое время и я там учился... Ну, а в эти края как попал? По разверстке?

То случайное обстоятельство, что Николай Николаевич окончил московский институт, как бы подчеркнуло нашу близость. Я ответил, что выбрал Заполярье добровольно, потому что работа в трудных, суровых условиях всегда казалась мне наиболее интересной и привлекательной.

Я хотел было добавить: «и романтической», но тут же подумал, что это прозвучит уж чересчур по-ребячески. Крамов хлопнул меня по колену и сказал:

— Что ж, Андрей, правильно выбрал. Обозникам — обоз, фронтовикам — передовая.

Мне понравилось, что он назвал меня просто по имени, — это было естественно при нашей разнице в годах.

Николай Николаевич улыбнулся каким-то своим дальним воспоминаниям и сказал:

— Ну, а теперь ты, наверно, хочешь, чтобы я рассказал тебе про гору? — Он сделал глубокую затяжку. — Гора капризная, злая гора. Породы скальные — ийолиты. Однако без креплений больше десяти метров оставлять

нельзя — обвалится: в породе много трещин. Со всем этим я столкнулся, когда уже начал проходку...

— Позвольте, Николай Николаевич, — прервал я его, — но разве геологический прогноз не был вам дан заранее?

— Нас с тобой учили, что должен быть дан, — сказал Крамов, чуть усмехнувшись, и мне показалось, что он только из вежливости произнес это «нас» вместо «тебя», — но видишь ли, гора высокая, туннель глубокий, и проверить геологический прогноз бурением скважин или рытьем шурфов не удалось. Это отняло бы слишком много времени, а туннель нужно сдать возможно скорее. Поэтому было принято решение пройти разведочную штольню, одновременно используя ее как передовую. Вот я и начал проходку.

— Как же так? — не унимался я. — Ведь это работа почти вслепую...

— Ну, зачем... — Крамов снова затянулся трубкой. — Во-первых, кое-какая предварительная разведка была проведена. А во-вторых, все здешние горы сложены примерно из одинаковых пород, и в одной из них рудник... Следовательно, кое-какие данные есть, вслепую не работаем.

Я забросал Николая Николаевича вопросами технического характера. Какое сечение его штольни? Сухие ли в основном породы? Можно ли открыть дополнительный фронт работ при помощи шахт? Какова достигнутая им скорость проходки? Можно ли применять отбойные молотки или только отпалку?

Крамов отвечал точно, ясно и коротко. Сечение штольни — семь с половиной квадратных метров. Породы в основном сухие, но есть основания предполагать, что встретятся и водоносные зоны. Большая глубина заложения туннеля не позволяет открыть дополнительный фронт работ. Твердость пород почти исключает применение отбойных молотков, основной метод проходки — взрывные работы. Скорость достигнута пока небольшая — двадцать метров в неделю. А задание — тридцать четыре метра...

В точных ответах Крамова я чувствовал искреннее желание помочь, ввести меня в курс дела. Я чувствовал, что некоторые мои вопросы и недоумения кажутся Николаю Николаевичу наивными, типичными для недавнего

студента, который только на учебной практике сталкивался с производством.

Но Крамов ничем не дал мне почувствовать ни своего превосходства, ни моей неопытности. Он разговаривал со мной как с равным, и я был благодарен ему за это.

Появление шофера Василия прервало наш разговор. Василий вытащил в комнату деревянный топчан и матрац.

— Ну, Андрей,— сказал Николай Николаевич, вставая,— давай приляжем ненадолго. Уже около трех.

Я подошел к окну. Спать совершенно не хотелось. Солнце по-прежнему сияло в небе. Желание действовать — и действовать немедленно — снова овладело мною.

Я все больше убеждался в том, что работа предстоит сложная, но это только подстегивало меня. И если бы я не знал, что на моем участке работы только начинаются, что сейчас там никого нет, я, конечно, не теряя ни минуты, отправился бы туда пешком.

— Николай Николаевич,— сказал я Крамову, который покрывал простыней мой топчан,— мне просто неудобно вас просить, время такое позднее, но, может быть, все-таки посмотрим штольню... а.

Крамов усмехнулся.

— А я все ждал, когда же ты заговоришь об этом. Какой уж тут сон для туннельщика, если штольню не посмотреть! Ладно, пойдем. Только предупреждаю: прохода сейчас прекращена — выходной день.

— Да мне только взглянуть. Как говорится, породу пощупать,— поспешно сказал я.

— Ладно, пойдем.

— Мы подошли к бараку, и Крамов вынес мне спецовку и резиновые сапоги.

— Каску наденешь? — спросил Николай Николаевич и протянул мне фибролитовую каску. Сам он остался в брюках и кожанке и только сапоги сменил на резиновые.

— Каску не надо,— ответил я.

Мы вошли в туннель. Николай Николаевич шел впереди, освещая путь лучом шахтерской аккумуляторной лампочки, которую держал в руках.

Высотой штольня была в полтора человеческих роста. Толстое деревянное крепление поддерживало породу. Кровля и стены были защищены досками. Кое-где тускло светили лампочки. Внизу, вдоль стен, по земле, тянулись

электрические кабели и шланги, по которым сжатый воздух поступал в пневматические буровые молотки. С сырого потолка свешивались древесные лохмотья и кора, с которых стекали капли воды.

Метра через три деревянных крепления уже не было. Казалось, выступы породы покрыты мхом. Я потрогал один из них и ощутил на пальцах каменную пыль, осевшую во время бурения. Подняв несколько каменных осколков, я положил их в карман спецовки, чтобы рассмотреть породу при солнечном свете.

Мы сделали еще несколько шагов. Свет лампочки выхватывал из темноты рельсы, выступы породы, лужи и небольшие, бьющие из стен роднички. Вода в этих родничках, пройдя на своем пути много естественных фильтров, была очень прозрачная.

Мы подошли к забою — стене, преграждавшей дальнейший путь. У его основания лежала большая груда взорванной породы.

— Ну вот тебе и штольня,— сказал Крамов, ставя лампочку на землю.— Проходку начали только недели полторы назад. Породу убираем пока вручную, рельсы еще не до конца проложили, да и электровоз обещают прислать только через два-три дня. В понедельник начнем монтировать зарядную станцию. Все ясно?

Нет, конечно, не все было ясно. Меня интересовало, какие применяются буровые молотки, и трудно ли было произвести врезку, и как поставлена маркшейдерская служба, и много ли бурильщиков занято в смену...

Крамов терпеливо отвечал на все мои вопросы.

Было уже около четырех утра, когда мы вышли из штольни. Я вытащил из кармана подобранные камни и стал их разглядывать. Да, это были ийолиты — одна из крепких пород, серые, чуть зеленоватые осколки с черными блестками.

Мы вернулись в комнату Николая Николаевича.

— Ну, теперь спать, категорически и безоговорочно! — сказал Крамов, сбрасывая с себя кожаную куртку.

Тревожные мысли, надежды, сомнения одолевали меня. Что я увижу на своем участке? Как сумею догнать Крамова, который уже вторую неделю ведет проходку? Как сложится дело с кадрами, с оборудованием?

— Совсем не хочется спать, Николай Николаевич,— сказал я.— Здесь, под этим ночным солнцем,

по-настоящему сознаешь, что люди созданы для деятельности, а не для сна. Не знаю, может быть, это и вредно с точки зрения медицины.

— С точки зрения медиков все вредно, — шутливо отозвался Крамов. Он сел на кровать и начал стаскивать сапоги. — Не спать вредно. Волноваться вредно. Курить тоже вредно, трубку в особенности: рак губы можно нажать... А посему, Андрей, давай на этот раз послушаемся медиков и завалимся спать.

Я разделся и лег на топчак. Николай Николаевич в носках подошел к окну и развязал веревочки, которыми была обвязана скрученная в валик штора из черного дерматина. Штора с шумом упала. Комната погрузилась во тьму.

Я проснулся, встал и приподнял уголок шторы. Постель Крамова пуста.

За окном было светло по-прежнему. Ночь? День? Утро? Все сместилось в моем сознании, ощущение времени было утеряно.

На столе, у трубочной горки, лежала записка. Я прочел:

«Не хотел тебя будить. Должен съездить в поселок ненадолго. Приеду — организуем твои дела.

Крамов»

Когда я мылся под умывальником, прибитым к стене в сенях, в дверь постучали.

На крыльце стоял маленький, худощавый человек. В руках он держал глубокую жестяную тарелку, прикрытую другой, мелкой. Сверху лежали два куска черплого хлеба и ложка.

— Доброе утро, — сказал человек. — Умылись? Вижу, штору подняли... Завтрак я вам принес.

Он прошел в комнату и поставил тарелки на стол.

— Спасибо, — сказал я. — У вас что же, столовая есть?

— Нет, столовой еще не имеем.

— А где же берете еду?

— Привозят на машине из комбинатской столовой.

Раз в день. Приятно вам кушать!

Он ушел.

Я съел пшеничную кашу с мясом, чуть теплую. Все-таки это не очень удобно — возить еду из поселка. И в чем они ее возят? В термосах, что ли? На моем участке, конечно, тоже столовой нет. Что-нибудь надо будет придумать...

Позавтракав, я вышел на площадку. Здесь по-прежнему было пустынно. Из барака доносились всхлипывания гармошки. На крыльце барака стоял босой человек и чистил сапоги, поплеывая на голенища.

Делать было решительно нечего. Предстояло снова томиться ожиданием. Вернувшись в комнату, я стал разглядывать фотографии над кроватью Крамова.

На одной из них был изображен Николай Николаевич в военной форме с майорскими погонами. Он сидел на пенке на опушке леса, уперев одну руку в бок, другую положив на колено.

На следующей карточке я увидел офицеров, выстроившихся на той же опушке. На первом плане Николай Николаевич принимал что-то из рук генерала — должно быть, орден.

На третьей карточке был снят какой-то человек, полный и лысый. Весь левый угол фотографии был занят размашистой надписью, похожей на резолюцию. Я прочитал: «Николаю Николаевичу Крамову от...» Подпись была неразборчива, и последний ее росчерк упирался прямо в нос лысого человека.

Случайно я увидел себя в зеркале, висящем рядом с фотографиями, и вдруг подумал:

«Каким же мальчишкой выгляжу я рядом с Николаем Николаевичем!»

Зеркало висело под углом, и, отойдя, я видел себя всего: долговязый, чуть припухлые губы и розовое лицо. Я попробовал поджать губы и нахмурить брови, но лицо мое стало каким-то непропорциональным, что-то в нем оставалось моим, а что-то появилось чужое.

Я решил бриться не чаще раза в неделю, чтобы казаться хоть немного мужественнее...

Вскоре приехал Николай Николаевич.

— Встал? Завтракал? — спросил он, сразу наполняя комнату атмосферой веселой, дружеской приветливости.

— Спасибо, все в порядке, — ответил я. — Теперь только одна просьба — помогите добраться до моего участка.

— На твоём участке сегодня делать нечего! — категорически сказал Крамов. — Я только что видел

Фалалеева и договорился с ним, что отправлю тебя завтра. И Фалалеев туда подъедет. К девяти. А сегодня побудешь у меня.

— Но, Николай Николаевич...

— Тебе что, у меня не нравится? — шутливо спросил Крамов, поднимая брови и широко раскрывая свои синие глаза.

— Что вы! — горячо воскликнул я: мысль, что он хоть в шутку мог обидеться, встревожила меня. — Вы так меня встретили... И мне все так нравится... Только я места себе не нахожу...

— Это почему же? — он достал из кармана трубку и зажал ее в зубах.

— Все думаю о том, сумею ли вас догнать.

— Нагоню, — уже серьезно сказал Крамов. — В любом случае обращай ко мне. В любую минуту. Ну, а сейчас мы с тобой пойдем на именины.

— Куда?

— На именины, — повторил Крамов. — Один мой рабочий справляет именины, бурильщик. Нельзя же отказать... Да мы ненадолго, только поздравим.

Все, что говорил Крамов, звучало как-то очень убедительно и категорично. Я почувствовал это еще вчера. Категоричны были его ответы на мои вопросы. Категоричны доводы, что сегодня ехать на участок мне не к чему. И приглашение на именины тоже прозвучало естественно и убедительно. Мы пошли к бараку.

В небольшой комнатке, отгороженной от общего помещения фанерой, собралось человек десять.

Многие сидели прямо на полу, поджав ноги, кое-кто расположился на дощатых парах. Матрац на деревянных стойках, не застеленный простыней, был сдвинут вглубь, к стене.

Знакомый мне по «шайбе» парень в брезентовой куртке растягивал мехи баяна. Усач, тот самый, что стоял вчера против меня у бочки, сейчас сидел в середине и разливал водку в стеклянные банки из-под консервов. По-видимому, это и был именинник.

Когда мы вошли, баян смолк. Усач встал.

— Ну, поздравляю тебя, Константин Федорович, — начал Крамов, широким, размашистым жестом протягивая руку, и вдруг опустил ее, нахмурил брови и медленно обвел глазами присутствующих. — Почему по-турецки

сидите, товарищи? — громко спросил Николай Николаевич. — Русскому человеку на турецкий манер сидеть неспособно. Почему нет стульев, табуреток?

На лицах появились улыбки. Кто-то громко рассмеялся. Усач вздохнул и сказал:

— Не открыли еще, говорят, в наших местах магазин, где можно мебель купить. Вот какое дело, Николай Николаевич.

Крамов помрачнел. Брови его круто сошлись над переносицей, глаза как-то мгновенно изменили цвет, из синих превратились в серые, темные. Он рывком выпул изо рта трубку и закусил губу. Потом сказал, обращаясь к парню в куртке:

— Беги быстрее, разыщи завхоза!

Парень положил баян и вышел из комнаты.

Через минуту он вернулся вместе с тем маленьким человеком, который приносил мне завтрак.

Константин Федорович протянул ему банку с водкой.

Но Крамов решительно перехватил и отвел протянутую завхозу банку.

— Вот что, Федунов, — медленно, цедя слова, сказал он, — как видишь, люди здесь веселятся, пьют и тебя угостить хотят. Но ты пить не будешь. Не имеешь на это права! Почему, — Крамов резко повысил голос, — почему, спрашиваю тебя, лучший бурильщик участка и его гости сидят черт знает на чем? Почему? Отвечай!

Лицо Федунова мгновенно покрылось мелкими каплями пота. Прерывающимся голосом он сказал, то ли пытаясь оправдаться, то ли стараясь обратить все в шутку:

— Не завезли еще мебель, Николай Николаевич, сами знаете. Да и нарядов у нас нету. Контора, как говорится, пищет, когда-то будет. Придется, как говорится, потерпеть...

— Не будем терпеть! — крикнул Крамов. — Никто на западном участке не должен пользоваться стульями или табуретками, пока лучшие рабочие туннеля сидят на ящиках или на полу!

Он сделал паузу.

Константин Федорович казался смущенным: ведь из-за него заварилась эта каша. Парень в куртке стоял, прислонясь к стенке, заложив руки в карманы и сощурился левый глаз, точно собирался сказать: «Что ж, поглядим,

чем это кончится». Иные смотрели на Николая Николаевича сочувственно, согласно кивая головой после каждой его фразы. Другие отвели взгляд в сторону, точно жалели Федунова и стыдились смотреть на него. Честно скажу, мне тоже было жалко Федунова.

— Сейчас же отправляйся в контору, — приказал наконец Крамов, — заведи стулья у инженера, у техника, у себя возьми, у меня и доставь сюда. А те пусть на полу сидят, если не желают думать о рабочих.

Федунов опрометью кинулся к двери. Вскоре он возвратился, волоча три стула, расставил их, для чего-то погладил сиденья и снова убежал.

— Ну вот, — громко и весело сказал Николай Николаевич, — теперь, друзья, веселитесь по-русски! Поздравляю тебя, Константин Федорович!

И левой рукой он взял за кисть руку усача, а правой ударил по его ладони.

Все почувствовали явное облегчение оттого, что обстановка разрядилась, задвигали стульями, усаживаясь на них по двое, зазвенели банками, заговорили все разом.

Парень в куртке поднял с пола баян.

— Э-э! — воскликнул, спохватившись, Николай Николаевич. — А почему сегодня эрзац-баянист? Где же Тимохин?

— Заболел Тимохин, — ответил человек с красным шрамом на лице. — Со вчерашнего дня лежит.

— Что с ним? Простудился? — спросил Крамов.

— Зачем простудился? — ответил парень в куртке. — Вчера в «шайбе» переложил лишнее. А может, колбаски съел. Неважная в «шайбе» колбаска.

Все рассмеялись.

— Что же, товарищи, веселитесь, — серьезным тоном проговорил Николай Николаевич, — а я проведу больного. Пойдем, Андрей. Привет, друзья!

— Николай Николаевич, а выпить? Ну, хоть четверть баночки! — метнулся вслед за нами усатый.

— Не пью, ребята, сами знаете, — отозвался Крамов уже из-за двери.

На улице мы увидели Федунова. Он тащил на себе несколько табуреток, задыхаясь от быстрой ходьбы и неудобной ноши. Николай Николаевич даже не взглянул на него.

Мы вошли в общую комнату барака.

Это было большое полутемное помещение с двумя рядами сплошных нар.

Большой одетый лежал на нарах, откинув голову, и, обхватив руками живот, громко стонал.

— Как деда, Тимохин? — спросил Крамов, подходя к нарам.

Больной не отвечал, продолжая стонать.

— Рези у него в животе. Капель бы ему каких, да аптечки нету... — сказал чей-то голос с нар, из полумрака.

Хлопнула дверь, и в помещение торопливо вошел Федунов, на ходу вытирая грязным платком пот с лица.

— Врач был? — спросил, не оборачиваясь к нему, Крамов.

— Еще нет, Николай Николаевич. Утром с шофером, который питание привозил, заявку послали.

— Чем кормите больного?

— Сами знаете, — замаявшись и вполголоса отвечал Федунов, — тем, что машина доставляет...

— Позор! — сквозь зубы процедил Крамов.

Потом он полез в карман, достал деньги и, протягивая Федунову сторублевку, сказал:

— Вот запомни, Андрей: самое гнусное чувство — это равнодушие к людям. А люди на Севере особые, и подход к ним нужен особый... Купишь в поселке курицу, — бросил он Федунову.

Николай Николаевич снова нахмурил брови и замолчал. Мне показалось, что он думает о том, как еще трудно здесь жить и работать людям, как много надо еще сделать для них и как виноваты те, кто забывает об этом.

— К здешним людям нужен особый подход, — продолжал Крамов, раскурив трубку. — За человеческое отношение к ним они не только гору, всю землю протянут — от Северного до Южного полюса...

Я с большим вниманием слушал Николая Николаевича. Еще несколько минут назад мне хотелось спросить его: почему так много пьют здесь люди? Почему неодолимо влечет их к себе эта пропахшая сивухой, сырая, темная «шайба»? Почему так плохо живут люди в бараке?

Но сейчас мне показалось бестактным задавать эти вопросы человеку, так сильно болеющему за людские нужды, так остро чувствующему и понимающему людей.

Дальняя, заполярная стройка, первые, трудные недели

работы, многое еще не организовано, не налажено как следует...

Я спросил Николая Николаевича, велика ли в комбинате партийная организация и много ли коммунистов у него на участке. Задавая этот вопрос, я сказал себе, что надо незамедлительно, в ближайшие же дни, стать на партийный учет.

— В отрыве мы от организации, надо прямо сказать, — заметил Крамов. — До комбината восемь километров, а зимой они на всю полсотню потянут. У меня на участке только один коммунист — я сам. А ты член партии?

— Кандидат, — ответил я.

— Ну, зайдешь в комбинат к Сизову, станешь на учет.

На крыльце домика я увидел незнакомца, полного человека. Он был немолод, лет пятидесяти; на одутловатом, нездорово-бледном лице его лежала сетка тонких красных прожилок.

— Вы меня вызывали? — спросил этот человек Николая Николаевича.

— Да, товарищ Хомяков, еще вчера. Пройдите в комнату.

Я понял, что предстоит деловой разговор, и, чтобы не мешать ему, сказал:

— Я погуляю немного, Николай Николаевич.

Крамов не возражал. Он прошел в дом следом за Хомяковым, а я двинулся по краю площадки к горе, размышляя о всем виденном и слышанном за этот день.

Фигура Николая Николаевича Крамова стояла передо мною во весь рост. Он представлялся мне в военной форме, таким, как был снят на фотокарточке. Я видел его в кругу солдат, слушающих своего командира, не сводящих с него глаз, видел, как он поднимает людей в бой, в атаку. Я не знал, за какой подвиг вручил ему награду генерал, но подвиг этот, конечно, был замечательный, героический...

«Вот таким и должен быть друг, старший товарищ, учитель, — говорил я себе. — Такому хочется подражать, для такого ничего не пожалеешь!»

Когда я возвращался, из раздумья меня вывел резкий голос Крамова, доносящийся из открытого окна.

— Вы тряпка, вы совершенная тряпка! — громко и раздельно говорил Николай Николаевич. — Вас недаром сняли с Карамского туннеля. Не оправдывайтесь! Если

вы еще раз позволите себе сделать что-либо подобное, разговор будет иной. Поняли?

Я остановился. Войти в такой момент в комнату было бы просто бестактно.

Тихий и робкий голос ответил:

— Это больше не повторится, Николай Николаевич, даю вам слово...

— У вас не может быть твердого слова, — прервал его Крамов, — вы тряпка! И поймите: этот туннель — ваше последнее прибежище. Идите, Хомяков!

Я поспешно завернул за угол дома, чтобы не встретиться с Хомяковым, и вошел в комнату только после того, как хлопнула наружная дверь.

Крамов, заложив руки в карманы и попыхивая трубкой, ходил по комнате из угла в угол. Он внимательно поглядел на меня.

Не знаю, может быть, по моим глазам он угадал, что я слышал часть его разговора с Хомяковым, во всяком случае он спросил напрямик:

— Небось слышал разговор по душам?

— Кто он, этот человек? — спросил я в свою очередь.

— Хомяков, сменный инженер. Странная штука человеческая судьба! Мы, конечно, не фаталисты, рок и прочая мистика нам не ко двору, но есть все же что-то неотвратимое в судьбах иных штрафников.

— Вы имеете в виду этого Хомякова?

— Именно его. — Николай Николаевич склонился над столом, над пепельницей, и стал выковыривать спичкой остатки табака из трубки. — Когда-то этот Хомяков был большим человеком, начальником строительства. Проморгал, произошла авария с жертвами. Его судили, дали условный срок... И вот уже давно кончился этот срок, а человек все время чувствует себя свободным только «до поры до времени». И ничего путного из него уже не получится. Для чего-то он еще пригоден, конечно, но не для большого...

Мне захотелось возразить ему.

— Разве нет случаев, Николай Николаевич, — неуверенно начал я, — когда человек, как вы сказали, проштрафившийся, исправляется, обретает силу, снова идет на подьем?

Крамов поднял голову, выбил трубку о ладонь и отстыл:

— Мы должны всеми силами стремиться к этому, помогать таким людям. Сила нашего общества столь велика, действительные коллектива настолько сильно...

Он замолчал, потеряв нить своих размышлений. Потом, словно перескочив через какие-то в мыслях произнесенные фразы, продолжал:

— И все же такой человек похож на... вазу с трещиной. И ставить такую вазу приходится уже не на виду, а в сторонке и трещиной к стене. Вот почему надо бережно относиться к человеку с трещинкой, помочь ему, убедить, а иногда и встряхнуть, как я этого Хомякова, чтобы он очнулся, нашел самого себя...

«Да, Крамов прав,— подумал я.— Иногда человеку не хватает воли, веры, чтобы оправиться от поражений или вины...» Я что-то хотел сказать Николаю Николаевичу в этом смысле, но послышался настойчивый стук в дверь.

Вошел парень лет шестнадцати — восемнадцати, белесый, вихрастый, с веснушчатым лицом, в сапогах и украинской рубашке, заправленной в перехваченные ремнем, явно широкие в поясе брюки.

— Вы начальник будете? — спросил парень, обращаясь к Крамову. Когда он раскрывал рот, курносый нос его чуть двигался и все лицо принимало задорное, драчливое выражение.

— Не только буду, но и есть, — ответил Николай Николаевич, весело подмигнув мне. — А ты кто есть и кем будешь?

— Зайцев моя фамилия, — скороговоркой, как о чем-то второстепенном, сказал парень.

— И что же ты, Зайцев, хочешь?

— На работу берите.

— Откуда же ты такой взялся?

— С отцом приехал. По вербовке.

Зайцев говорил отрывисто, быстро, точно был убежден, что ни вопросы Крамова, ни его, Зайцева, ответы не имеют никакого отношения к основному делу и только тормозят его решение.

А Крамов, не подавая виду, что замечает нетерпение парня, продолжал свои расспросы.

— Куда же твой отец завербовался?

— На рудник. Бурильщиком на рудник завербовался. С Урала мы, — ответил Зайцев уже медленнее и спокой-

нее, поняв, что, прежде чем Крамов не выпросит все, дело не двинется.

— А сколько тебе лет?

— Восемнадцать, — поспешно ответил парень и здесь же добавил: — Скоро...

— Комсомолец?

— Не... Только я вступаю.

— Так. Что ж ты, Зайцев, на рудник не пошел, к отцу поближе?

— У вас тут туннель новый строится. Я на новое хочу, учиться хочу, — упрямо ответил Зайцев.

— На новое? Что ж, причина уважительная. Только у нас ведь не школа, а производство.

— Знаю. Я на практике подучусь, а потом, может, курсы какие откроются. Или на шофера выучусь...

— Ясно, — кивнул Крамов. — Хорошо, брат Зайцев, ступай к сменному инженеру, Хомякова спроси. Он тебя приспособит.

Зайцев дернул посом, улыбнулся и ушел, не попрощавшись.

— Идут кадры! — весело сказал мне Николай Николаевич. — Ужасно люблю встречать новых людей, — добавил он доверительно.

Наступил вечер.

Как и вчера, Николай Николаевич со стуком опустил черную штору, сразу отрезав наглухо комнату от бесконечного дня. И снова, как вчера, я почувствовал, что не хочу, не могу уснуть.

Мысль, что через несколько часов уже наверняка буду на своем участке, будоражила меня.

Я лежал и думал: как мне отблагодарить Крамова за сердечный прием, за советы, как объяснить ему, что я счастлив, встретив на своем пути такого человека, как он?

— Спишь, Андрей? — неожиданно спросил Николай Николаевич.

— Нет, нет! — поспешно ответил я.

— Готовишься к бою? Знакомо мне это чувство...

Как я обрадовался завязавшемуся разговору! Только бы он не оборвался...

— Вы, конечно, были на фронте, Николай Николаевич? — торопливо спросил я. — Я видел фото, ведь это фронтовые снимки?

— Да. Первый Украинский,— лаконично ответил Крамов.

— Как я завидую вам! А вот я нигде еще не был, ничего путного не сделал, ничего не видел. А вы уже столько туннелей построили...

— Ну, не так уж много, всего четыре.

— Всего четыре... Шутка сказать! А я? Три раза был на практике — вот и все. А когда вы сражались на фронте, я еще в школе учился.

— Что же в этом плохого? — рассмеялся Крамов. — Я охотно поменялся бы с тобой возрастом.

— А, этот мой возраст! — воскликнул я. — Первые пятилетки, война — все, все прошло без моего участия. Вы, конечно, помните, есть такой роман у Герберта Уэллса. Человек изобрел машину времени. Он мог путешествовать в прошлом, в будущем... Эх, если бы это было возможно...

— Что же тебе хочется увидеть? — спросил Крамов. — Пещерных людей? Картины древнего Рима?

— Что вы, зачем мне древний Рим! Я хочу видеть Октябрьскую революцию и гражданскую войну, хочу видеть, как рос Магнитогорск, как построили когда-то Комсомольск, хочу увидеть Ленина. А из древностей... ну, хотя бы, как рыли подземный ход при Иване Грозном, во время осады Казани. Интересно, какая тогда была техника...

— Ты романтик, Андрей,— усмехнулся в темноте Крамов. — А впрочем, я и сам романтик... У тебя отец, мать живы? — спросил он после небольшого молчания.

— Отца нет. Умер в сорок четвертом. Мы тогда в Сибири были. Мать жива.

— Ну, а друзья, товарищи? Девушка, может быть?

— Девушка?..

Я умолк. Мне трудно было говорить вслух об этом. Да, у меня была девушка. Я любил ее, но никогда не знал, любит ли она меня. Иногда мне казалось, что да, любит, и тогда все ее речи, даже те, в которых нет ни одного слова, близкого слову «любовь», говорили об этой любви...

Но порой мне начинало казаться, что я ошибаюсь, что настоящей любви у нее нет, и тогда я настойчиво спрашивал ее: правда ли это, правда ли, что она не любит меня?

И она отвечала: «Нет, неправда! Я люблю тебя, я всегда люблю тебя...» И слово «любовь» повторялось часто-часто, и тогда я пугался почему-то и улавливал только одно слово, похожее на стук дятла: «Нет... нет... нет».

Впрочем, все это я придумываю сейчас, когда пишу эти строки.

У меня была девушка, и мы любили друг друга. Ее звали Светлана. Мы учились с ней в институте на одном курсе. Год назад мы решили, что по окончании института поедем работать вместе, на одну стройку...

Нет, она не обещала стать моей женой, я не хочу обвинять ее в том, чего не было...

Но мы любили друг друга, любили! И решили работать вместе. Она должна была приехать сюда через несколько дней. Мы договорились, что я пошлю ей телеграмму, как только приеду в Заполярск. И она дала слово, что будет здесь. Я верил в это.

Но странное дело — в ту ночь у Крамова я почему-то не сказал ему о Светлане. Не знаю почему. Вероятно, мне хотелось, чтобы об этом знал только я один. Вот иногда в романах пишут: когда человек счастлив, ему обязательно хочется, чтобы все знали о его счастье. Не думаю. Может быть, ему и хочется, чтобы все знали о его счастье, чтобы все радовались вместе с ним, но о самом счастье рассказывать не надо. Пусть оно будет твое, единственное... Помню, когда я в первый раз поцеловал Светлану, то весь день ходил как во сне, смотрел на людей и думал: «А вы не знаете, не знаете, что со мной произошло сегодня!..»

— Нет, Николай Николаевич,— ответил я,— девушки у меня нет.

— Ну, значит, ты Робинзон,— сказал Крамов.

— Почему?

— Начинаешь новую жизнь свободным, без связей, без обязательств к прошлому, один, сам по себе.

— Нет, что вы, Николай Николаевич, какой же я Робинзон?

— Ну, это я просто к слову. Литературный образ. Ты — из Уэллса, а я — из Дефо. Просто хотел сказать, что ты сам кузнец своего счастья. А теперь давай спать.

И через несколько минут я услышал его спокойное дыхание.

Однако я все еще не рассказал толком, что за туннель собирались мы строить.

За горой, в тундре, находился рудник, в котором добывалась фосфорная руда — сырье для удобрения.

Добытая руда отправлялась по железнодорожной ветке на обогатительную фабрику, а затем, уже в виде концентрата, отгружалась по назначению.

От рудника до фабрики было километров двадцать пять. Ветка шла вокруг подножия горы, отделявшей рудник от фабрики.

Но зимой, которая длится здесь почти восемь месяцев, снежные заносы нарушали работу транспорта. Кроме того, рабочие, обслуживающие железнодорожную ветку, их домики, расположенные вблизи от полотна, подвергались ежедневной опасности быть заваленными снежной лавиной. Что же касается дороги, то она то и дело выходила из строя — снежные заносы, лавины обрушивались на полотно, и каждый раз требовалось много сил, чтобы восстановить движение.

В такие дни простаивала, оставаясь без сырья, обогатительная фабрика. Простаивали вагоны, поданные на станцию для отгрузки концентрата. На руднике скапливались тысячи тонн руды. Руда лежала под открытым небом, ее заносило снегом.

А потом много дней уходило на то, чтобы восстановить ритм отгрузки. И так до нового снегопада или новой лавины.

Выход был один — прорыть в горе туннель, соединить рудник и фабрику «напрямую», проложить постоянно действующий, гарантированный от заносов и снежных обвалов железнодорожный путь. В дальнейшем предполагалось открыть в этой горе новый рудник. И тогда туннель станет к тому же и основной транспортной артерией нового рудника. Но все это было делом будущего. Сейчас надо было прорубить гору. В этом и состояла наша задача.

...В семь часов утра шофер Василий высадил меня у подножия восточного склона горы, развернул машину и уехал.

Начальник отдела строительства комбината Фалалеев назначил мне здесь встречу в девять утра. Но я упрямился

Крамова отправить меня сразу же, как только мы проснулись.

И вот я стоял в одиночестве у подножия горы, которую видел недавно с участка Крамова. Здесь она мне показалась еще более черной и неприветливой.

Горы окружали меня со всех сторон — суровый горный мир. Даже освещенные лучами незаходящего солнца, эти голые, почти лишённые растительности горы не казались веселее. Наоборот, розовый отблеск, падающий на вершины, лишь подчеркивал их мрачность.

Завывал ветер. Казалось, где-то здесь, поблизости, скрыт неслыхаемый источник ветра. Ветер гудел и бил мне в лицо то справа, то слева.

Я не видел ничего или почти ничего, что походило бы на строительную площадку. Правда, у подножия горы стоял небольшой дощатый барак и рядом маленькая, наскоро сколоченная хибарка. Но и только. Ни обычных на стройплощадке рельсов узкоколейки, ни каких-либо дополнительных построек, ни вагонеток — ничего, что говорило бы о начале работ.

Внезапно до моего слуха донесся мерный металлический звон. Он возникал где-то за баракком.

Я обогнул барак и увидел странное зрелище. Двое рабочих, сидя у подножия горы, били породу ломом.

Некоторое время, незамеченный, я с молчаливым недоумением наблюдал, как ломы со звоном вбиваются в породу.

Скала не поддавалась. Требовалось по нескольку ударов в одно и то же место, чтобы отколоть от нее маленький осколок породы.

— Тяжело долбить, ребята? — громко спросил я.

Рабочие опустили ломы и выпрямили спины. Один из них был в ватнике, в резиновых сапогах, другой — в комбинезоне. Оба они показались мне почти стариками.

— А ты кто такой будешь? Начальство или так? — спросил рабочий в ватнике.

— Вроде начальства, — ответил я.

— Понятно, — сказал рабочий в комбинезоне. — Понял-ка, товарищ начальник. — И он протянул мне лом. Я взял.

— И мой прими, — сказал второй.

Я бессознательно взял и его лом.

— Ну вот, друг Агафонов Федор Иванович, — проговорил тот, что был в комбинезоне, — теперь инструмент, выходит, мы сдали. Счастливы вам оставаться!

Они начали стряхивать с одежды землю и каменную пыль. Я стоял с ломами в руках, растерянный, не понимая, что происходит. Рабочие, не глядя на меня, прошли мимо.

— Пойдите, товарищи, подождите! — крикнул я, бросая наконец на землю эти проклятые ломы. — Куда же вы?

Они неохотно остановились.

— Ждать нам, начальник, некогда, — сказал тот, кого звали Федором Ивановичем, — до поселка еще долго ногами махать.

— Но кто вам разрешил бросать работу? — уже с отчаянием спросил я.

— Работу мы не бросаем, — спокойно возразил Агафонов. — Это не работа, а издевательство, вот что. Для такого дела мы не годимся, стары.

— Подождите, — сказал я, приближаясь к ним. — Объясните мне толком, в чем дело. Я начальник этого участка...

От моего уверенно-грубоватого тона не осталось и следа. Я чувствовал себя примерно так, как в «шайбе», и говорил не как начальник, а как проситель, как младший со старшими, как человек, боящийся, что его не дослушают до конца.

— Да уж надоело говорить, товарищ начальник! — произнес рабочий в комбинезоне; фамилия его, как я узнал позже, была Нестеров. — Вас-то, правда, мы в первый раз видим... А то придет начальство, спросит: «Ну как, рубаете породу?» — «Рубаем, будь она проклята, эта порода!» — «Ну, рубайте, рубайте!» И уедет... А теперь и нам надоело... Нарубали, хватит!

Он снова сделал шаг в сторону дороги.

Я не знал, что делать. Несомненно было одно — их надо удерживать, удерживать во что бы то ни стало. Надо проявить настойчивость, характер.

Эх, если бы на моем месте был Крамов!

Наконец я взял себя в руки и твердо сказал:

— Вот что, товарищи. Я инженер. Только что окончил институт. Приехал на работу к вам в Заполярье. Честно говоря, я не понимаю: зачем вы ковыряете гору

таким способом? Тут будет туннель, есть на это решение правительства. А туннеля пока нет. И работы настоящей тоже, вижу, нет. Помогите мне разобраться.

Я присел на поросший мхом обломок скалы.

Рабочие потоптались на месте, потом подошли ко мне, присели. Я с облегченным вздохнул.

— Объясни ему, Кузьма, — устало сказал Федор Иванович.

— Что ж, дело ясное, — угрюмо начал Кузьма. — Работали мы на руднике. Работа была, и заработок был, по три тысячи в месяц забуривали. Потом говорят: «Туннель будем прокладывать, чтобы поезда без задержки руду возили. Работа сделанная, от метра проходки». Ну, мы согласились. Привезли нас сюда. «Вот, говорят, начинайте проходку». — «Чем?» — спрашиваем. «Пока ломами. Завтра инструмент прибывает, начальство приедет». Вот так десять дней нас и кормят завтраками... А сколько мы за эти десять дней прошли? Одной дневной нормы за все время, считай, не выполнили. Вот тебе, начальник, и все объяснение...

Оба они сумрачно глядели себе под ноги, но не уходили. И я понял, что, несмотря на всю усталость и обиду, они с любопытством ждали, что ответит новый начальник.

А я молчал. Я не знал, что сказать им. Что инструменты придут не сегодня-завтра? Махнул рукой: новое, дескать, начальство, старые песни... Кроме того, я и сам возмущен тем, что услышал. Я едва сдерживался, чтобы не ругать вместе с рабочими дирекцию комбината. Мне хотелось сказать им: «Бросайте работу! Пойдем на комбинат, устроим скандал! Пока строительство не будет элементарно обеспечено техникой и кадрами, продолжать работу бессмысленно и я, Арефьев, участок не приму...»

Но что-то мешало мне произнести эти уже готовые сорваться с языка слова.

Ведь легче всего удариться в панику, устроить скандал в комбинате. Но это трусость, Андрей, обыкновенная трусость! Разве так поступали в трудных условиях люди, о которых ты читал, которым завидовал? Разве так поступил бы Крамов?

Некоторое время мы стояли молча, не глядя друг на друга.

— Вот что, товарищи, — произнес наконец я, стараясь говорить как можно тверже. — Упрашивать вас я не буду.

Вы люди пожилые, да и я уже не мальчик. Скажу просто: есть твердое решение пробить в этой горе туннель. На западном участке уже ведут проходку, вы это, наверное, знаете. Директор комбината заверил меня, что оборудование начнет поступать к нам со следующей недели, да раньше оно и не потребуется. Насколько я знаю, у вас и компрессор-то еще не установлен. Где же мы возьмем воздух для бурильных молотков? Словом, я приму необходимые меры. А приказание долбить породу ломами пока отменяю.

Рабочие по-прежнему глядели себе под ноги. Мне показалось, что мои слова прошли мимо их ушей, не произвели никакого впечатления. Решимость покинула меня, и я воскликнул:

— Выручайте меня!

Федор Иванович медленно поднял голову, сказал, взглянув на меня:

— А вы высшему начальству про все это заявите...

— Или в газету, — угрюмо поддержал его Кузьма. — Пропесочат, будь здоров. За такие дела по головке не гладят.

Они больше не сказали ничего. Но я уже знал — они останутся.

Федор Иванович подтвердил мои мысли:

— Ладно, инженер, останемся. В тундре тебя не бросим, у нас на Севере так делать не положено. Только вот тебе наше слово: если на будущей неделе инструмента не будет, уйдем. Уйдем, Кузьма?

— Уйдем, — подтвердил второй.

— Обещаю, обещаю! — вырвалось у меня. Мне хотелось обнять их.

В эту минуту послышался автомобильный гудок. На дороге стоял «газик», крытый брезентом. Из машины медленно выбирался невысокий, полный человек. Очевидно, шофер посигналил для того, чтобы привлечь наше внимание.

— Вот и главный повар явился, — зло проговорил Федор Иванович, — завтраками будет кормить!

Я пошел навстречу приехавшему.

— Здорово. Я Фалалеев, — буркнул человек, тыча в меня рукой.

Когда я сообразил, что этим жестом Фалалеев протягивает руку, чтобы поздороваться, он уже опустил ее. Он

будто и не заметил, что я не пожал ему руку. Ткнул и опустил — вот и все.

— Ну, как устроился? — все той же скороговоркой спросил Фалалеев. — Жалеешь небось, что в такую даль забрался?

Во мне поднималось озлобление против этого человека. Это он назвал меня щенком в разговоре по селектору. Это он заставил рабочих делать бессмысленную работу. И теперь тычет в меня рукой, будто я чурбан какой-то.

Я спросил, стараясь говорить как можно спокойнее:

— Скажите, пожалуйста, это вы распорядились начать проходку ломами?

Фалалеев мельком взглянул на меня.

— Допустим, я.

— Скажите, пожалуйста, с какой целью?

— Э-э, парень, молодо-зелено, — рассмеялся Фалалеев. — Ну, объясню, нетрудно. Рабочие есть? Есть. Запать их чем-то надо? Надо. Оборудования еще нет? Нет. Ясно?

— Неясно, — сказал я.

— Да чего ж тут неясного? — пожал плечами Фалалеев. — Рабочие есть?..

— Но, может быть, целесообразнее было бы привезти сюда бурильщиков, когда будет оборудование? — прервал его я.

— Э-э, товарищ инженер, — уже с явной иронией сказал Фалалеев, — такой синхронности в наших краях не случается. Это вам не столичное метро. Вы мне скажите: лучше будет, если оборудование придет, а кадров нет? А раз дали вам кадры — благодарите. Пока нет инструмента, пусть хоть камни с места на место перетаскивают.

— Я считаю такую установку возмутительной, — тихо проговорил я.

— Как? — неожиданно меня прежний тон, взвизгнул Фалалеев. — Вы... вы... молокосос! Я приехал на Север, когда здесь людей на десятки считали... Я...

Что-то прорвалось во мне, я потерял над собой всякий контроль и заорал:

— Замолчите! Вы бездушный человек! Для вас люди — не люди, а кадры, вы хотели убить в них любовь к работе, с первых дней внушить отвращение к туннелю. Я поеду к директору комбината, к прокурору...

Задохнувшись, я замолчал. Мне вдруг стало нестерпимо стыдно за свой крик, точно я внезапно услышал его

св стороны. Я был уверен, что Фалалеев сейчас же повернется, сядет в машину и уедет. Но, к моему удивлению, он этого не сделал. Он пробурчал довольно спокойно:

— С первого дня начнешь к прокурору бегать — когда же работать будешь?

Его спокойствие охладило меня. Я поспешно сказал, пытаясь хоть как-нибудь загладить свою мальчишескую выходку:

— Посудите сами, товарищ Фалалеев, разве это дело — проходку ломами вести? Ведь рабочие должны любить работу, а мы... а мы все равно что солдата с палкой против танка посылаем!

— Да хватит тебе меня агитировать! — добродушно-грубовато сказал Фалалеев. — Известно нам все это. Ты что ж, на готовое думал приехать? Предлагали же тебе на рудник пойти — сам отказался. Между прочим, еще один инженер к тебе на участок едет. Баба, не завидую... Ну, пойдём в контору разговаривать. Кстати, вот тебе телеграмма.

И, сунув мне в руку бланк, Фалалеев зашагал к бару.

Это была телеграмма от Светланы. Вы не поверите, но в те часы я как-то забыл о ней. Я не мог думать тогда ни о чем, кроме одного: как удержать рабочих?

Но теперь я сразу забыл о Фалалееве, обо всем, что меня окружало, и торопливо развернул телеграмму. В ней было только одно слово: «Еду».

Прошло несколько дней. За это время на моем участке произошли кое-какие перемены. Во-первых, прибавилось народу. В бараке теперь жили десять человек, не считая Федора Ивановича Агафонова и Кузьмы Тимофеевича Нестерова. Среди этих людей были и бурильщики, и палычники, и монтажники.

Я устроился в маленьком закутке при конторе. Жили мы худо. Как и на западном участке, пищу только один раз в день привозили из поселка, и каждый разогревал ее как умел. Спали мы на дощатых нарах, на тонких матрацах, без простынь. Правда, со дня на день обещали выдать белье. Плохо было и с водой — приходилось ведрами носить из озера. Небольшое это озеро лежало метрах в пятистах к югу от нашей площадки. В те дни я как-то не

думал о бытовых условиях моей жизни. Спал не раздеваясь, перестал бриться. А главной заботой сейчас являлась установка компрессора. Нам был нужен компрессор, чтобы дать воздух в буровые молотки; компрессор был началом, основой всей нашей техники, он должен был вдохнуть в нее жизнь.

И вот тут-то возникло препятствие. Бетонный фундамент для компрессора надо ставить на материковых, скальных породах, а мы, приступив к рытью котлована для фундамента, неожиданно наткнулись на слабые грунты. Попробовали копать в другом месте — та же картина. Вдобавок ко всему котлован стали заливать грунтовые воды, а у нас не было никаких водосточных средств: электролиния, к которой можно было бы подключить насосы, тоже еще не подвели к горе.

Помню, как рабочие, окружив котлован, поглядывали то на воду, быстро заливающую дно, то на меня, инженера. Конечно, они ждали от меня команды, совета, указаний. Но я молчал. Я не мог понять, в чем дело. Окружавшие нас горы состояли из твердых пород, а в подножии, в ложине, по совершенно невдомым мне причинам залегали слабые, мягкие грунты, и фундамент для многотонного вибрирующего компрессора ставить на них было невозможно.

Это был первый удар, полученный нами.

Весь вечер и половину ночи я провозился с книгами, которые привез с собой, — искал описания случаев, близких к нашему. Но ничего не нашел. Компрессорные установки не входили в мою специальность, однако они были тесно связаны со строительством туннелей. Я утешал себя тем, что я не компрессорщик, но облегчения не испытывал.

Надо было ехать в комбинат, рассказывать о своей неудаче, просить помощи. Мне было горько и стыдно, я уже видел перед собой лицо Фалалеева и усмешку, с которой он встретит меня... Но другого выхода не было.

И вот я сижу на валуне и жду машину с провизией, чтобы уехать в комбинат.

В два часа машина появилась. Еще издали я заметил, что в кабине рядом с шофером сидит человек. «Вероятно, кто-нибудь из комбината, — подумал я. — Только этого не хватало — увидит наши занятые водой ямы». Машина подъехала, остановилась, и из машины вышел... Николай Николаевич Крамов!

Я так обрадовался, что сразу забыл обо всех неприятностях и побежал ему навстречу. Он шел ко мне широкими шагами, перепрыгивая через валуны. На нем была все та же кожанка, сапоги, а в зубах неизменная трубка.

— Ну, здорово, Андрей! Как идут дела? — крикнул он издали.

Я крепко пожал ему руку и тотчас же почувствовал, что мне совсем не трудно и не стыдно рассказать ему о нашем затруднении.

— Приехал проведать, — широко улыбаясь, проговорил Крамов и присел на валун. Я сел возле него. — Ну, как, врезался?

Я горько усмехнулся. Он спрашивал, врезались ли мы, то есть приступили ли к проходке, а мы еще компрессор никак не можем установить...

— Нет, Николай Николаевич, — откровенно ответил я, — до врезки нам еще далеко.

И, ничего не утаивая, рассказал о нашем горе. Пока я говорил, Крамов прочищал свою трубку травинкой.

— А как вы справились с установкой, Николай Николаевич? — спросил я, закончив свой рассказ. — Помучились с компрессором?

— Ни минуты, — ответил Крамов.

— Какой же у вас грунт?

— Думаю, такой же, что и у вас.

— Тогда я, очевидно, неуч.

— Вот это уже перегиб! — рассмеялся Крамов и встал. — Покажите-ка мне, что у вас там происходит.

И зашагал к горе, заложив руки в косые карманы своей потертой, из дорогой кожи куртки, попыхивая трубкой. Я поплелся за ним.

Рабочие понуро сидели вокруг котлована и сплевывали в воду, подымавшуюся все выше.

При его приближении рабочие стали медленно подниматься. Это бросилось мне в глаза. Крамов сказал коротко:

— Здорово, ребята!

Подошел к котловану и стал глядеть на воду.

Один из рабочих тоненько засмеялся. Крамов строго взглянул на него, и смех оборвался.

— Что ж, пройдем в контору? — обратился Николай Николаевич ко мне.

Я провел его в свою каморку.

— Так вот, дружище, — проговорил Крамов, опускаясь на нары, — никаких трудностей с фундаментом у вас нет. Ты их придумал.

— Как?! — воскликнул я.

— А так. Ты подумал ли, парень, о том, какого происхождения эти горы? Они ледникового происхождения, притом недавнего. Каких-нибудь двести пятьдесят тысяч лет назад здесь полз ледник. Ваш грунт — это морена, обыкновенная морена, которую принесли ледники.

— Все это так... — начал было я.

Но Крамов прервал меня:

— А раз так, то, значит, под мореной должна быть скала. Та же порода, что и в этих горах. И надо просто докопаться до скалы.

— А что же делать с водой? — спросил я. — Ведь здесь даже насос подключить не к чему. Чем откачивать воду?

— Ведерками, товарищ инженер, ведерками и воротком! Скала наверняка там, и близко.

Я молчал. То, что говорил Крамов, было ясно, просто и, главное, бесспорно...

— Как-то не подумал об этом, — тихо сказал я, — в голову не пришло...

— Восемнадцать лет назад, когда я только что соскочил с инстингурской скамьи, мне это тоже не пришло бы в голову. Тогда для меня технический проект был вроде евангелия для верующего — каждое слово непогрешимо. Так же как для тебя сейчас.

— А для вас?

— Я тоже уважаю проект и стараюсь ему следовать. Но если по проекту где-нибудь требуется гайка или болт, а у тебя их нет, ты станешь в тупик и удержишь строительство. Ведь так? А я заменяю их парой гвоздей. Вот, грубо говоря, и вся разница.

Крамов уехал под вечер. За ним пришла грузовая машина, и я подумал с досадой: вот западный участок уже обзавелся автотранспортом, а у нас ни одной машины!

...Вскоре после нашей встречи с Крамовым прибыло наконец оборудование — буровые молотки, планги к ним, рельсы, две вагонетки для отгрузки породы. Доставили и взрывчатку.

Теперь можно было начинать проходку штольни, приступать к тому, что на нашем, техническом языке называется врезкой.

После долгих уселий был пущен и компрессор.

Я решил начать работу с утра, но спать никому не хотелось, солнце светило по-прежнему ярко, и монтажники, бурильщики, откатчики, запальщики — вся наша группа столпилась у компрессорной. Приятно было слушать, как рассекает воздух ременная передача.

Я тоже стоял среди людей, прислушиваясь к шуму компрессора, и в ту минуту не существовало для меня музыки более красивой.

Вдруг кто-то дотронулся до моего плеча.

— Вас спрашивают, — сказал Нестеров. — Вы там, у конторы, стоит...

Это была Светлана. Я не сразу узнал ее в шлем комбинезона и пестрой косынке.

Я бросился к ней...

4

Еще заранее я решил, что, как только Светлана придет, она будет жить в комнате при конторе, а я перейду в барак...

Как я был счастлив, что Светлана здесь! Подумайте: что еще нужно молодому парню, который имеет профессию, рвался на трудное, ответственное дело, ему доверили это дело, а девушка, которую парень любит, поехала вслед за ним, чтобы разделить все трудности жизни и работы? Ведь это и есть счастье!

Пока я устраивал Светлану и торопливо рассказывал ей обо всем, что произошло на участке за последние дни, все наши товарищи собрались у подножия горы. Пора было начинать врезку.

Тут стояли бурильщики со своими длинными, похожими на бескрылых стрекоз бурильными молотками, от которых, точно серые змеи, тянулись резиновые воздухопроводные шланги, подрывники с тяжелыми, набитыми патронами брезентовыми сумками на плечах, откатчики...

Не знаю, как передать то тревожно-радостное ожидание, которое охватило всех нас в этот торжественный миг...

Светлана удивительно быстро освоилась с обстановкой. Мне так хотелось, чтобы рабочие хорошо приняли ее, нового инженера, чтобы Светлана почувствовала себя как дома в этих далеких и неуютных местах!

50

Но я волновался напрасно. Светлана как-то сразу, без всяких переходов, вошла в работу, бегала от компрессора к бурильщикам, проверяла, плотно ли привернуты плапги, потом подбежала ко мне и шепнула:

— Тебе надо речь произнести, Андриюша...

Она была очень хороша сейчас. В уже запылившемся комбинезоне, плотно облегавшем ее мальчишескую фигуру, в красной косынке, из-под которой выбилась прядь светлых волос, она глядела на меня большими, блестящими от волнения глазами. На ее смуглое лицо легла бурувая пыль.

Я не мастер говорить речи. В институте и на комсомольских собраниях я чаще помалкивал или говорил с места. Но тут меня что-то подхлестнуло, я взобрался на валун, крикнул: «Товарищи!» — и... умолк. Я был до того взволнован, что у меня дрожали колени.

Стоя на валуне, я глядел на людей, люди глядели на меня. Потом я зачем-то посмотрел на часы и едва слышно сказал:

— Сейчас двенадцать часов и десять минут. Приступаем, товарищи!

Светлана распорядилась включить компрессор.

Бурильщики уперлись бурами молотков в породу, падалились всем телом на рукоятки. Бурение началось. А вокруг было по-прежнему светло, не видное за горой солнце подсвечивало ее верхушку.

Я чувствовал, что не могу устоять на месте. Подбежал к одному из бурильщиков, перехватил у него молоток...

Случалось мне работать и бурильным и отбойным молотком, но на этот раз меня тряхнуло и молоток упал на землю. Я выругался: мне тогда и в голову не пришло, что рабочие могут посмеяться над моим неумением бурить.

Я был весь во власти азарта, снова схватил молоток, падалился на него и включил воздух. Молоток встречивал меня, рвался из рук, казался мне живым существом, которое сопротивляется, хочет вырваться, убежать...

А я все бурил и бурил. Наконец с сожалением передал молоток бурильщику и был счастлив, видя его поощрительную улыбку.

Время прошло незаметно. Когда бурильщики внезапно выключили воздух и воцарилась какая-то оглушительная тишина, мне показалось, что прошло всего лишь несколько минут. А было уже три часа ночи.

51

Один из бурильщиков повернулся ко мне и сказал:

— Готово! Можно палить, начальник.

В тишине его голос прозвучал неестественно громко и торжественно.

Я подошел к забою. В теле горы зияли девять черных отверстий, расположенных в форме неправильного ромба. Двое запальщиков приблизились к забою. Один из них проверил, очищены ли пылуры от буровой пыли, шестом-забойником измерил глубину и начал посылать туда патроны со взрывчаткой, тщательно их трамбуя.

Скоро все девять отверстий были забиты взрывчаткой. Из них тянулись хвосты бикфордова шнура.

Мы отошли на далекое расстояние и укрылись за валунами. Я со Светланой расположился за камнем, позади нас легли рабочие.

Высунув голову, я наблюдал, как запальщик наискось обрезал ножом концы шнуров и стал поджигать их. Затем оба запальщика побежали назад, к камням.

Взрывы должны были начаться через две минуты. Сердце мое колотилось. Стояла абсолютная тишина, даже ветер как будто стих. Я не отрываясь смотрел на ручные часы. Когда до взрыва осталось пять секунд, я спрятал голову за камень.

Бах! Первый взрыв, усиленный горным эхом, оглушил меня. Бах! Бах!.. Земля под нами вздрагивала при каждом ударе. Девять взрывов последовали один за другим с одинаковыми интервалами.

Мы вскочили и побежали к забою. Там, где минуту назад была ровная поверхность, сейчас зияла небольшая пещерка. У подножия горы выросла груда вырванной взрывом породы. Мы долго не отходили от горы, щупали стенки образовавшейся в горе полости, рассматривали куски породы.

Было уже пять часов утра, когда мы со Светланой остались наконец наедине.

Рабочие ушли спать.

— Ну вот, Андрей,— сказала Светлана, беря меня под руку,— рабочий день окончен. Ты замучился, наверное?

Но я совсем не чувствовал усталости.

— А ты,— сказал я Светлане,— еле стоишь на ногах. Иди спать, я провожу тебя.

— Да у меня и сна-то ни в одном глазу! — воскликнула Светлана.— Пойдем прогуляемся лучше.

И мы медленно пошли с ней в сторону, к озеру.

Странное это было озеро. Его берега совсем не поднимались над уровнем воды. Земля как будто плавно переходила в воду. Озеро казалось мертвым. Скрытое за горами солнце каким-то чудом все-таки добрасывало сюда свой свет, вода чуть розовела и, казалось, была прикрыта тончайшим стеклом.

Мы легли на землю и долго смотрели на воду.

Мне было так хорошо, что я слово боялся вымолвить. Наверное, каждому человеку случалось испытывать такую сильную радость. Пока молчишь, ощущаешь всю невыразимую полноту радости, а слова всегда ее ограничивают...

В те минуты я как бы заново переживал, переосмысливал свою жизнь. Я вспоминал детство, институтские годы, свои мечты, желание сделать что-то большое, трудное. Я думал о Светлане, которая сейчас была здесь, рядом со мной, и о том, что все мои опасения оказались напрасными, что она любит меня — иначе не приехала бы.

А ведь когда-то меня мучили сомнения. Она была одной из самых заметных, самых ярких девушек в нашем институте. Было время, когда я просто робел перед ней. Она как-то очень быстро добивалась всего, чего ей хотелось. Увлекалась лыжным спортом, была слаломисткой. Я несколько раз ездил за город смотреть, как она мчится с горы. Сердце замирало, когда она стояла на вершине, готовясь ринуться вниз...

А сам себе я казался слишком уж земным, слишком обыкновенным. Конечно, и у меня были свои мечты, но зрели они где-то глубоко внутри...

А теперь все мечты мои сбылись. Светлана со мной.

Но я лежал неподвижно, созная в глубине души, что ничто не может быть выше ощущения счастья и радости, которым я был полон. Будто я держал налитую до краев чашу радости и боялся пошевелиться, боялся пролить хоть каплю...

В те минуты мы так ничего и не сказали друг другу.

Проснувшись, я услышал голос Светланы за стеной барака. Она встала раньше меня. Я выглянул в окно. Да, Светлана была уже на ногах. Она распорядилась

отгрузкой породы, выкпнутой после взрывов. Рельсов у нас еще не было, вагонетка бездействовала, породу переносили на носилках.

Спный комбинезон Светланы успел сплошь покрыться пылью, лицо ее потемпело, словно она загорела за эти несколько часов. И сейчас она казалась мне еще красивей, чем вчера.

На людях я поздоровался со Светланой сдержанно, почти официально, и от этого почувствовал ее еще более близкой.

Четверо рабочих переносили породу и сбрасывали ее метрах в двадцати от забоя в небольшой овражек, трое других крепили деревом нависающие куски породы. Стучали топоры, взвизгивали пилы.

— Через час можем продолжать бурить! — крикнула мне Светлана.

В голову мне пришла мысль: как, в сущности, все просто в жизни! Только не струсить, не поддаваться панике, одолеть первые трудности — и вот все уже позади, путь открыт...

Как я ошибался!

Когда бурильщики забурили новые шпурьы, а подрывники, заполнив их взрывчаткой, подожгли бикфордовы шпурьы, когда прогрохотали взрывы, осела каменная пыль и все мы устремились к забою, я увидел, что вся наша предыдущая работа пошла насмарку. Вместо уходящего в гору коридора у подошвы горы лежала грудa обвалившейся породы и валялись деревянные обломки обрушившихся креплений.

Я был уверен, что причина неудачи в плохо закрепленной кровле, и распорядился после уборки породы поставить более прочное крепление.

Но оптимизм мой был преждевременным.

В течение всего дня, до поздней ночи, мы продолжали рвать породу и крепить кровлю. А результаты были все те же. С каждой новой отпалкой рушилась только что закрепленная кровля, и нам со Светланой оставалось только «руководить» погрузкой на носилки обвалившихся камней...

Был уже час ночи, когда Светлана, Нестеров, Агафонов и я собрались в бараке обсудить создавшееся положение. Все молчали. Я понимал, что именно мне нужно начать разговор, но я не мог принудить себя к этому.

— Ну, в чем дело, товарищи? — неожиданно сказала Светлана. — Почему все скисли? Не вижу причин для траура!

Ее громкий, бодрый голос вывел меня из состояния подавленности. Я сказал:

— Техническим проектом детали врезки, как известно, не предусмотрены. Тем не менее я убежден, что мы работаем правильно, делаем все так, как нас учили. И все же врезка не получается...

Снова наступило молчание.

— Что врезка не получилась, всем известно! — все так же громко и, как мне показалось, раздраженно проговорила Светлана. — Надо разобраться и понять, почему не получилась. Я полагаю, что причина в креплениях.

— Крепили на совесть, — угрюмо сказал Агафонов.

— Да не в том дело! — отмахнулась от него Светлана. — Я имею в виду качество дерева, а не креплений. Может быть, деревья на Севере недостаточно крепкие?

На лицах Агафонова и Нестерова появилась не то улыбка, не то усмешка. Я тоже едва сдержал улыбку.

То, что сказала Светлана, было очень наивно. Однако я был благодарен ей за бодрый, деловой тон.

— На Севере, товарищ инженер, мачтовый лес растет, — сказал Нестеров.

— Ну, тогда не знаю, — передергивая плечами, призналась Светлана. — Во всяком случае надо что-то решать.

— Так или иначе, — после долгой паузы сказал я, — бурение пока надо прекратить.

— Как это прекратить?! — воскликнула Светлана.

— На время прекратить, — повторил я. — Надо дать людям отдохнуть.

Я понимал, что говорю сейчас совсем не то, что хотелось бы услышать людям, но ничего другого придумать не мог.

Почти физически ощущая, как в нашем маленьком коллективе после подъема, вызванного пуском компрессора и первой отпалкой, появились уныние и растерянность, я все же ничего не мог предпринять. Мне было стыдно перед людьми, перед Светланой. Но я не понимал, в чем причина нашей неудачи, и ощущал полный упадок сил.

Мы вышли из барака. Агафонов и Нестеров направились к рабочим, все еще толпившимся у забоя.

— Пойдем, Андрей, поговорим,— сказала Светлана и потянула меня за рукав.

Следом за ней я вошел в бывшую мою каморку.

Два чемодана Светланы стояли на верхних нарах, а нижние были аккуратно застелены зеленым плюшевым одеялом, имевшим такой странно домашний вид в этой неуютной комнате! На табуретке стояло зеркальце, рядом лежал небольшой несессер. Лампочка, одиноко висевшая на шнуре, была прикрыта колпачком из оберточной бумаги. У стены стоял перевернутый вверх дном ящик из-под оборудования, покрытый куском клетчатой материи.

Все это я разглядел как бы сквозь туман, застилавший мои глаза.

— Садись,— сказала Светлана, усаживаясь на нары.

Я сел на перевернутый ящик.

— Что же будем делать? — спросила Светлана.

— Не знаю.

— Но это же ни на что не похоже. Инженеры мы, в конце концов, или дети?

— Очевидно, плохие инженеры,— сказал я, чувствуя, что этот разговор не имеет никакого смысла.— Я по крайней мере плохой.

— Стыдно, Андрей!

Опустив голову, я смотрел на сучок в доске некрашеного пола.

— Должно же быть какое-то решение! — убежденно сказала Светлана.— Мы должны его найти.

Я молчал.

Конечно, проще всего было бы отправиться в комбинат, рассказать о нашей неудаче, посоветоваться и попросить прислать для консультации опытного производственника.

Но... я не мог на это решиться. Мне было стыдно. В первые же дни работы ехать на комбинат и признаваться в своем бессилии? Сказать Фаладееву, что он был прав, а я щенок и неуч?..

— О чем ты думаешь? Говори же что-нибудь наконец! — воскликнула Светлана.

Я поднял голову и посмотрел на нее. Смотреть мне было больно — может, от усталости, а может, от бурлившей пыли, попавшей в глаза.

— Я думаю, что обманул этих людей,— ответил я.—

Они ждали инженера, а приехал неуч. И тебя я тоже обманул.

— Меня? Это каким же образом?

— Ведь ты приехала сюда из-за... Ну, словом, это я уговорил тебя. А тут даже помыться негде, ходишь в грязном комбинезоне, и тебе сейчас так же стыдно перед рабочими, как и мне.

— Ну, в этом ты ошибаешься,— торопливо сказала Светлана,— о своих туалетах я как-нибудь уж сама позабочусь. А тебе скажу, что юнчить нечего. Решение должно прийти. Просто мы что-то не так делаем.

— Не так! Мы пять раз бурили и палили, а результат один и тот же.

Светлана вскочила.

— Как ты смеешь так говорить! — Лицо ее побледнело.— Надо бороться, драться!

— Что же, в шестой раз бурить?

— Хоть в шестнадцатый!

— Скажи это рабочим — они поднимут нас па смех.

— Послушай, Андрюша,— сказала Светлана совсем другим, ласковым тоном и положила руку на мое плечо,— что с тобой происходит?

Ее голос, прикосновение ее руки сразу вывели меня из подавленного состояния. Я вдруг со всей силой ощутил, что рядом со мной верный друг, что ничего, в сущности, не потеряно...

— Как хорошо, что ты здесь! — воскликнул я.— Ты мне так нужна, ты даже сама этого не знаешь...

Так хорошо было хоть на мгновение забыть обо всем, кроме того, что Светлана здесь, рядом...

И вдруг в тишине, нарушаемой только завываниями ветра, я услышал далекие взрывы. В первое мгновение я не понял, что это значит, но потом вскочил и прижал руку Светланы к своей груди.

— Что это? — спросила Светлана, вставая.

— Это Крамов, Крамов! — воскликнул я.— Это Крамов ведет проходку на противоположном участке! Ну как же мне сразу не пришло в голову обратиться к нему! Света, все в порядке, я поеду к нему! Это такой человек... Ах, если бы ты знала, какой это человек!

Я обхватил Светлану и поднял ее.

— Ты с ума сошел,— недоуменно говорила она, упираясь руками в грудь и слегка отталкивая меня.

Я опустил ее на нары. Я снова почувствовал себя сильным, уверенным, готовым к любым трудностям. Как я мог поддаться унынию, как мог растеряться, когда рядом со мной Крамов, Светлана, Агафонов и Нестеров, люди, не бросившие меня в самый трудный момент! Я уже не отвечал Светлане, а она расспрашивала меня, чему я так обрадовался и кто такой Крамов. Я подсчитывал, сколько времени осталось до прибытия машины с продовольствием, на которой я поеду на западный участок, сколько времени займет дорога. Выходило, что через полтора-два часа я смогу увидеть Николая Николаевича. Все в порядке!

— Все в порядке! — воскликнул я. — Скоро, Света, ты увидишь замечательного человека! Я поеду и привезу его сюда. Это начальник западного участка. А ты, как только люди немного отдохнут, снова начинай бурить шпурь. К нашему приезду вы закончите.

И я побежал на дорогу послушать, не едет ли машина.

5

В кабине машины нас было трое — Крамов, шофер и я. Николай Николаевич сидел, положив на колени свои обросшие рыжеватым пушком руки, рукава рубашки были завернуты по локоть. Украдкой взглянув на него, я внутренне улыбнулся: до того приятно было мне сидеть с ним рядом!

Мне даже не пришлось просить Николая Николаевича ехать — он вызвался сам. Выслушав мой рассказ, Крамов сказал:

— Что же, Андрей, поедem к тебе, посмотрим...

Подъезжая к участку, я не услышал шума бурения, только гудел встречный ветер, рассекаемый нашей машиной. Очевидно, Светлана уже закончила бурение и теперь ждала нашего приезда.

Как только строительная площадка открылась перед нами, я заметил, что все рабочие толпятся у забоя. Со времени моего отъезда прошло часа четыре, но я словно и не уезжал — все было по-старому. За спинами людей я не мог видеть, готовы ли шпурь.

Светлана приближалась к нашей машине, и я сразу почувствовал, что в ней произошла какая-то перемена.

Она шла слишком торопливо, засунув руки в косые карманы комбинезона и слегка откинув голову назад. И вместе с тем в ее походке чувствовались усталость и неуверенность.

Мы вышли из кабины.

— Шпурь готовы? — весело спросил я Светлану. И сказал Крамову: — Знакомьтесь, Николай Николаевич, это наш новый инженер Светлана Алексеевна Одицова.

Крамов быстрым, едва уловимым взглядом оглядел Светлану и поклонился.

Она хотела было протянуть ему руку, уже подняла ее, но увидела на пальцах грязь и сунула руку в карман.

— Ну как шпурь? — повторил я, когда мы подходили к горе.

Светлана чуть дотронулась до моей руки и сказала тихо, так, чтобы ее не слышал Крамов:

— Знаешь, Андрей, у нас одно несчастье за другим.

— Что еще случилось?

— Расплющились буры, в компрессоре перебой...

По тону, которым Светлана говорила, я мог предположить худшее. Расплющились буры! Но есть же запасные! Почему Светлана так растерялась?

Мы подошли к горе. Достаточно было одного взгляда, чтобы увидеть, что шпурь не пробурены. Я отозвал в сторону Агафонова и спросил:

— Что случилось, Федор Иванович?

— Да вот засела в забое чертовщина какая-то и не пускает, — ответил Агафонов.

— Как не пускает? — уже с раздражением спросил я.

— Да так. Буры, пикн тупятся, а некоторые совсем расплющились. Валун, должно, какой-нибудь.

— А вы не знаете, как в таких случаях следует поступать?

— Почему не знаю? Приходилось... Обобрать надо бы валун, потом подорвать.

— Ну и что же?

— Так не я ж тут начальник, — угрюмо проворчал Агафонов. — Инженерина нервничает. «Давай, говорит, буры. Надо, говорит, бороться, драться...» Ну, один бур сел, другой сел. «Бери, говорит, третий...» А тут компрессор чихать начал. Барышня и испугалась, приказала работу прекратить, ждать вашего приезда...

После этого происшествия я стал замечать странную, новую, дотоле неизвестную мне черту в характере Светланы: она как-то терялась, пугалась, что ли, когда оставалась одна... Нет, не то, я совсем не то хочу сказать. Она пугалась, когда ей надо было принимать решение самостоятельно, на свою ответственность...

Да нет, неправду я говорю! Ничего я тогда не заметил. Это я сейчас, сейчас все придумываю...

Ободрать тяжелый, крепкий валун, взорвать его, закрепить кровлю и пробурить в забое новые шпурсы нам удалось только поздно вечером.

Когда начали бурение, Крамов встал за спинами бурльщиков и внимательно следил за работой.

Светлана и я стояли рядом с ним. От растерянности Светланы и следа не осталось. Она снова стала прежней, в походке появилась энергия, в голосе уверенность.

Валун обобрали, и Светлана дала команду забурить его, заложить взрывчатку и подорвать.

По моим расчетам, шпурсы в забое были пробурены только на половину необходимой глубины, когда Крамов внезапно скомандовал «стоп!» и приказал запальщикам закладывать патроны со взрывчаткой.

Прогрели взрывы.

Не дожидаясь, когда осядет стена земли и бурильной пыли, я бросился к забою.

Кровля не обрушилась. В горе образовался долгожданный коридор. Врезка произошла.

Я почувствовал руку на своем локте. Рядом стоял Крамов. Он отвел меня в сторону, сказал:

— Так вот, сосед, я в первую же минуту сообразил, что ты буришь слишком глубоко, соответственно с этим закладываешь слишком много взрывчатки, поэтому и кровля у тебя летит к черту. Здесь я в этом убедился, да и ты, надеюсь, тоже.

Простота объяснения ошеломила меня. «Как? — думал я. — Неужели все дело в том, что я в своем безрассудном нетерпении как можно скорее и глубже врезаться в гору толкал бурильщиков на слишком глубокое бурение?!»

— Столько сил и труда впустую! — с горечью сказал я вслух. — А дело такое простое...

— Нет, дружище, не такое уж простое, — усмехнулся Крамов. — Врезка — дело хитрое. Надо иметь наметанный глаз, чувство породы, чтобы определить, как лучше и быстрее вскрыть гору. И дается это опытом, только опытом. Если в готовой уже штольне ты произведешь слишком сильные взрывы, то обрушишь только ближайшие к забою крепления. Остальные, дальние выдержат, и штольня в общем не пострадает. А ведь в начале работ все держится на волоске. Пока у твоей штольни всего метр глубины. Как тут выдержать креплениями!.. Стало быть, все в порядке. Светлана Алексеевна? — спросил Крамов подошедшую Светлану.

— Все ясно, — быстро ответила она. — Мы закладывали слишком много взрывчатки. Верно?

Она стояла перед Николаем Николаевичем в обычной своей позе — руки в карманы, плечи чуть откинута. Крамов усмехнулся. Нет, на губах его я не подметил ни усмешки, ни улыбки, и все же мне показалось, что он усмехнулся. Вероятно, усмехнулся его глаза.

— Ну вот, видите, как все просто? — мягко сказал Николай Николаевич. — Уверен, что вы и сами справились бы.

Мне почему-то хотелось, чтобы он ответил резче, жестче, — ведь самоуверенность Светланы могла обидеть его!

Но Крамов и не думал обижаться. Он крепко пожал руки нам обоим, сунул в карман потухшую трубку и зашагал к своей машине.

И то, что он ушел так просто, не ожидая наших благодарностей, приехал, помог и уехал вновь, вызвало во мне новое чувство восхищения этим человеком.

Ночью на нашем участке появился корреспондент областной газеты. Я еще не спал, когда он приехал на потрепанном «газике» с громыхающим на ходу брезентовым верхом.

Корреспонденту было лет под сорок, и разговаривал он как-то особенно медленно и ясно, я бы сказал — элементарно, точно сомневался в том, что его поймут. Вероятно, так разговаривают с иностранцем, когда нет уверенности, что он хорошо владеет языком, на котором идет разговор, и бояться поставить его в затруднительное положение. Чувствовалось, что у корреспондента большая тренировка в разговорах подобного рода.

— Я из областной газеты «Советский Север», — отрекомендовался он. — У вас произошли, или происходят, или должны произойти большие события?

— Вы имеете в виду врезку? — спросил я.

— Очевидно.

— Тогда вы несколько запоздали. Это случилось часа четыре тому назад.

— Ничего, мы попытаемся восстановить ход событий. Я попрошу вас рассказать, как это произошло, только подробно, с деталями, то есть с частностями. Меня интересуют не только факты как таковые, но и все сопровождавшие их обстоятельства: время суток, общее настроение, слова и реплики участников, внешняя обстановка... Вам понятна моя мысль?

Он говорил как человек, заранее убежденный, что ему будут рассказывать совсем не то, что его интересует. Но я был слишком хорошо настроен, чтобы обижаться на него.

— Скажите, — спросил я, — откуда вы узнали о наших делах?

— Журналисты знают все, — ответил корреспондент, но, видимо, эта фраза показалась ему слишком расплывчатой, и он добавил: — Я уже несколько дней в вашем районе. А о вашем событии мне сказали в редакции районной газеты всего час тому назад.

— Откуда же они узнали?

Корреспондент пожал плечами.

— Как же районной газете не знать, что делается в ее районе!

Конечно, он прав. И тут же у меня появилась мысль воспользоваться присутствием корреспондента, чтобы воздать должное Николаю Николаевичу. Мне хотелось, чтобы как можно больше людей знали о помощи, которую он нам оказал.

— Видите ли, — продолжал корреспондент, — насколько я знаю, вы молодой инженер, это ваша первая самостоятельная работа. А мы как раз хотим дать в газету подборку, то есть несколько статей на тему «Молодые советские специалисты прибыли на далекий Север...»

— Видите ли, — невольно подражая корреспонденту в его манере говорить, сказал я, — в том, что у нас произошло, я, к сожалению, играл второстепенную роль. Нам помог Николай Николаевич Крамов, начальник западного

участка. Я хочу рассказать вам о нем. Вы могли бы дать статью об обмене опытом или о том, как старые специалисты помогают молодым? По-моему, это очень важная тема.

Корреспондент оживился. Видимо, он привык «вытягивать» материал, а тут открылась приятная неожиданность — ему подсказывают тему.

— Пожалуй, это неплохо, — не то согласился, не то спросил он. — Это может лечь на полосу. Да и теме подборки не противоречит. Вы говорите, его фамилия Крамов?...

Мы расстались с корреспондентом в два часа ночи. Он уехал, увозя с собой до половины исписанный блокнот. Когда машина, громыхая брезентом, скрылась за поворотом, я стоял и думал: все ли я рассказал о Крамове? Понял ли корреспондент, что за человек Николай Николаевич? Сумеет ли он нарисовать его облик таким, каким вижу его я?

Статья о Крамове появилась в областной газете через несколько дней. Это была большая статья, на три колонки, с портретом Николая Николаевича в центре.

Я быстро прочитал статью и побежал к Светлане.

Пока она читала, я, стоя за ее спиной, еще раз пробежал статью. Мне было очень приятно, что о Николае Николаевиче написано так много хороших слов, что все узнают теперь о нем и о той помощи, которую он оказал нам.

К моему удивлению, Светлана чуть пожала плечами и молча вернула мне газету. Я сказал:

— Здорово написано!

Светлана как-то странно посмотрела на меня.

— Чему тут особенно радоваться? Здесь написано, что мы сели в калошу, и если бы не этот Крамов...

— Светлана, — прервал я ее, — как ты можешь так говорить? Ведь он же в самом деле помог нам? Разве ты забыла?

На этот раз Светлана поглядела на меня чуть снисходительно.

— Ну, помог. А почему мы должны этому радоваться?

Мне показалось, что я понял ее настроение. Я рассмеялся.

— В тебе говорит обыкновенное честолюбие, Света. Просто ты досадуешь, что мы не сумели справиться сами.

— А тебе приятно, что наплась нянька? — неожиданно раздраженно ответила Светлана и пошла к забою.

Я с недоумением смотрел ей вслед. Сейчас она была какая-то натянутая, как-то очень резко, что ли, очерченная, и так откинула плечи, что образовалась впадина между лопатками. Впрочем, Светлана шла навстречу сильному ветру...

Николай Николаевич Крамов появился на нашем участке в следующее же воскресенье.

— Собирайтесь, товарищи! — крикнул он, издали увидев меня.

Я шел к домику Светланы. Сегодня мы решили с ней отправиться в горы. Вероятно, она тоже услышала голос Крамова и шум его машины, потому что сразу показалась на пороге.

Кажется, в первый раз после приезда Светланы на участок я видел ее не в комбинезоне, а в красной юбке и белой блузке. И волосы ее не были собраны под косынку, как в те годы, когда мы учились в институте. На этот раз она высоко перехватила их лентой, чтобы защитить от ветра.

Широко улыбаясь, Крамов быстро шел нам навстречу.

— Так вот, товарищи начальники, — сказал он, — я предлагаю чудесную вещь. Сейчас мы на машине отправимся к озеру. Не к ближайшему, а к тому, что в пятнадцати километрах отсюда. Там у рыбаков есть катер. Мы сядем на этот катер — деговоренность с рыбаками есть, — покатаемся по озеру часа два и вернемся обратно. Ну, как задумано?

— Прекрасно! — воскликнул я и посмотрел на Светлану.

Она молчала. Мне стало неловко за нее.

— Вы не в восторге от моего предложения? — спросил Крамов без всякой обиды, но, как мне показалось, грустно.

— Мы просто хотели прогуляться с Андреем Васильевичем, — сказала Светлана, непривычно называя меня по имени-отчеству. — В горы.

— Но ведь и мы поедем в горы! — подхватил ее слова Николай Николаевич.

— Поедем, Светлана! — настойчиво сказал я.

Длинные, почти сходящиеся у переносицы брови Светланы чуть приподнялись.

— Хорошо, — сказала она, — поедем.

Сейчас, когда прошло так много времени после этой поездки, я думаю: не с нее ли все началось?.. Нет, не с нее. То, что произошло, началось когда-то раньше. Это уже было, уже жило где-то внутри нас. До первой нашей встречи на участке, до первых разговоров, до туннеля, до врезки, до статьи в газете, до поездки к озеру... Собственно, если говорить об этой поездке вне всякой связи с другим, то ничего особенного тогда не случилось...

Мы ехали по чудесной, так запомнившейся мне дороге. Сначала машина мчалась по берегу озера. На той стороне озера виднелись горы. По обе стороны дороги были разбросаны валуны разной формы и цвета. Дорога все время шла на подъем, и было неожиданно встречать на такой высоте небольшие озера. Они походили на плоские тарелки, до краев налитые водой.

Вокруг было пустынно, ни одной живой души не встретили мы на пути. Иногда мне казалось, что я вижу разбросанное на склоне горы, меж деревьев, селение. Но это были огромные валуны, издали похожие на крыши домов.

День был уже в разгаре, когда мы подъехали к рыбацкому причалу. Николай Николаевич подхватил небольшой, лежавший у его ног чемоданчик, чехол с разобранным спиннингом и побежал к маленькой пристани. Катер еще не пришел. Пришлось ждать около двух часов. Наконец послышался резкий сигнал, потом показался катерок.

Мы устроились на носу. Затарахтел мотор, и катер, рассекая серую, со светлыми полосами воду, двинулся в сторону дальних, едва различимых гор.

Это было замечательное плавание! Мы шли вдоль огромного зеленого массива, над которым раскинулись клочья разметанного ветром легкого тумана. Наступал вечер, круглое красное солнце плыло над лесом

наперегонки с нами. Дальних гор уже не было видно, но большие снежные поляны на них были еще заметны.

Мы прошли на катере в узкие горные ворота и увидели вдаль новую цепь гор. Ближняя из них была ясно различима, а дальние казались клубами сгустившегося тумана.

— Ну как, друзья, не сердитесь, что я вовлек вас в это плавание? — спросил Николай Николаевич.

— Что вы! — воскликнула Светлана. — Это просто необыкновенно! Я вот думаю сейчас: увидели бы меня отсюда, из Москвы, как я плыву между гор, ночью, под ярким солнцем...

Она произнесла эти слова с каким-то самозабвением. Я удивленно посмотрел на нее. Вероятно, она забыла обо всем на свете и ощущала только себя на фоне этих сказочных гор.

Да, это была та Светлана, которой я так любовался под Москвой, на высоких горах, когда она широко раскидывала руки, вдыхая полной грудью воздух перед тем, как броситься в свой зигзагообразный полет...

Как я люблю ее такую! В те минуты мне казалось, что она часть меня самого и выражает то, что живет во мне, но что я не умею, а может быть, стесняюсь высказать...

— Вы тоже москвичка? — спросил Крамов.

— Тоже, если вы москвич, — ответила Светлана.

Некоторое время мы молчали. Вскоре настроение Светланы передалось мне, и я сказал:

— Когда я вижу эти далекие, суровые, неприступные горы, мне хочется взобраться на них и посмотреть, какой мир откроется моим глазам за горами.

— Там снова горы, — проговорил Крамов.

— Я говорю сейчас отвлеченно. Когда я вижу перед собой что-нибудь далекое, неизвестное, мне всегда хочется проникнуть туда...

— Кажется, Пржевальскому принадлежат слова: «Душу номада даль зовет», — сказал Крамов. — Номад — это значит кочевник. Вы типичный номад, Андрей.

Я заметил, что в присутствии Светланы Крамов обращается ко мне на «вы».

Сейчас мы шли между горами. Солнце бросало свои лучи так, что справа горы казались мрачными и недоступными, а слева простерся светлый мир туманных далей.

Наконец мы подошли к тем горам, которые издали были похожи на клубы тумана. Теперь на них хорошо были видны деревья.

Мы пристали к длинным мосткам, глубоко уходящим в воду, и вышли на берег. Озеро было безмятежно тихо, и прибрежные ели отражались в нем с такой ясностью, что можно было разглядеть каждую веточку.

Впереди шли Николай Николаевич со Светланой, за ними я.

Мы продвигались по тропинке среди густого елового и березового леса и вскоре увидели горную речку. Пройдя по руслу около четверти километра, мы поднялись по осыпи на левый берег, прошли террасой до сухого русла, слушая, как журчит текущая под осыпью невидимая вода, перешли на левый берег и добрались до долины.

Я никогда не видел раньше такого богатства минералов, как в этих местах. Утверждают, что только Урал ими богаче. Повсюду были рассыпаны замечательные камни — фиолетовый эвдиалит, розовый патролит... Вам никогда не приходилось видеть пластинчатый астролит? Нет? Как он сверкает на солнце! Точно внутри него горит огонь, разбрасывая искры. А «лопарская кровь»? Этот камень действительно похож на сгусток крови... Словом, я увлекся камнями, набил ими полные карманы и даже не заметил, как Крамов и Светлана, оживленно беседуя, ушли вперед.

Наконец я догнал их и выложил перед ними свою коллекцию.

— Знаешь, на кого ты похож сейчас, Андрей? — улыбаясь и снова переходя на «ты», сказал Николай Николаевич и небрежно подкинул на ладони один из моих камней. — На скупого рыцаря. Вот так же старик восхищался своими сокровищами... А в общем камни хороши, ничего не скажешь.

Светлана небрежно скользнула взглядом по моим камням. Мне стало не по себе: я почувствовал, что похож на мальчишку — карманы набиты камнями, а руки тоже полны кампеш.

Мы вышли к берегу речки и пошли вниз по течению, к ущелью. Даже в этот солнечный вечер оно было полно мрака. Река пробила себе путь в горах и образовала ряд порожистых каскадов. Мы слышали все нарастающий шум.

— Водопад! — крикнула Светлана и побежала вперед. Скоро мы подошли к нему.

Метрах в десяти от обрыва речка была еще спокойной, течение совсем незаметным. Только бросив в воду спичечную коробку, я увидел, что она медленно, но неуклонно приближается к обрыву.

Но вот вода начинает бурлить. В пей можно различить сразу несколько течений — они образуют завихрения, отталкиваются от камней, огибают их и, наконец, вода, поднявшись невысоким каскадом, в следующую секунду с грохотом низвергается вниз.

— Какая красота! — восхитилась Светлана. — Вам не кажется, что водопад напоминает огромного взбесившегося зверя? И пена стекает с его злой морды...

Не знаю, походил ли водопад на зверя, но он действительно был красив. Коричневые, до матового блеска отполированные глыбы точно светились в лучах солнца, проходящих через тонкий слой воды, скатывающейся по камням. А дальше, метрах в десяти от водопада, вода постепенно усюкаивалась, течение становилось ленивым, почти незаметным для глаза, и просто не верилось, что эта вода всего несколько секунд назад бесновалась, вздымая пену.

Грохот падающей воды, ледяные брызги, бьющие в лицо, вызвали во мне внутренний подъем.

— Ого-го! Мы пришли-и! — крикнул я, стараясь перекричать гул и грохот водопада, но мой голос был почти неслышен.

Тогда я крикнул еще громче:

— Мы пришли-и-и!!

Николай Николаевич с улыбкой сказал Светлане:

— Парень сорвет себе голос.

И увлек нас в сторону от водопада.

По едва заметной тропинке мы прошли еще около километра.

— Здесь мы начнем охоту! — объявил Крамов, опуская на землю свой чемоданчик, и стал вытаскивать из чехла и свинчивать бамбуковое, обмотанное шелковой нитью, блестящее от лака удилице.

— Где же вы собираетесь достать червей? — спросил я.

— Черви — примитивная и жалкая уловка нетребова-

тельных рыболовов! — весело ответил Крамов. — Мы заставим рыбу клевать металл.

Он выпрямился и обеими руками занес далеко в сторону гибкое, точно хлыст, блеснувшее на солнце удилице.

На лице Николая Николаевича застыла хитрая, настороженная улыбка. Какое-то мгновение он глядел на Светлану, затем перевел взгляд на воду и, не сходя с места, медленно, всем туловищем отклонился назад. Потом, стремительно наклонившись, взмахнул удилицем.

Послышалось жужжание вращающейся катушки. Блеснула взметнувшаяся в воздухе леса и упала в реку. Очень красиво все получилось...

Николай Николаевич медленно шел по берегу и, вращая ручку катушки, выбирал из воды лесу. Вдруг он крикнул: «Есть!» — и стал быстро вращать рукоятку, одновременно подтягивая лесу удилицем.

Через минуту на берегу билась довольно большая семга.

— Ну, снимите же ее с крючка! — крикнул мне Крамов.

Я побежал и поднял рыбу. В руках она забилась еще сильнее. Крючок глубоко засел в ее горле. Блесна вздрагивала над крючком в такт судорожным движениям рыбы.

— Снимай же скорее! — крикнула Светлана, гримаса передернула ее лицо.

Снять рыбу было не так-то легко. Крючок через горло глубоко вонзился в жабры, на землю падали ярко-красные капли крови.

— Никогда не думала, что рыба кровь такая красная, — проговорила Светлана, отворачиваясь.

Наконец мне удалось отцепить крючок и пустить рыбу в небольшую лужицу на берегу.

— Не понимаю, — сказал я, — почему рыба бросается на пустой крючок?

Светлана и Крамов одновременно рассмеялись, и Николай Николаевич терпеливо объяснил мне, что при сматывании лесы металлическая пластинка вращается и поблескивает, хищные рыбы принимают блесну за маленькую рыбку, пытаются проглотить ее и попадают на крючок.

— Дайте-ка я попробую, — неожиданно сказала Светлана, протягивая руки к Николаю Николаевичу.

Крамов пристально поглядел на нее.

— Дайте, дайте мне! — настойчиво повторяла Светлана, почти вырывая удилице из рук Крамова. Она опять преобразилась: как тогда, на носу катера, лицо ее покраснело, глаза заблестели.

Рассекая воздух удилицем, она закинула лесу и стала вращать катушку.

Я скептически наблюдал за Светланой, не веря в ее умение, но вдруг удилице в ее руках чуть подалось вперед.

— Рыба, рыба! — обрадовалась Светлана.

— Да выбирайте же лесу! — закричал Крамов.

Светлана резко подняла удилице вверх. Над головой взвилась блесна и... пустой крючок.

— Зачем же так торопиться? — с добродушным упреком сказал Крамов. — Рыбе нельзя давать понять, что ее пессика спета. Отчаяние увеличивает сопротивление. Надо водить рыбу, тянуть осторожно... Попробуйте еще раз.

Но Светлана махнула рукой и протянула Николаю Николаевичу удилице. Глаза ее потухли.

— Все это слишком сложно для меня, — с усмешкой сказала она.

Крамов несколько раз закидывал спиннинг, и вскоре на берегу бились еще четыре рыбы. Я не успевал снимать их с крючка.

Рыбалка была в самом разгаре, когда Николай Николаевич вдруг стал развинчивать свое удилице и укладывать его в чехол. Потом он поднял чемоданчик и сказал:

— Ну, двинулись?

— А рыбы? — педоуменно спросил я. — Разве мы не возьмем их?

Крамов пожал плечами.

— Зачем? У нас есть закуска получше, — он кивнул на чемоданчик. — Чистить рыбу, возиться... Да и запаха рыбного я не переношу.

— Зачем же вы ловили их?

— Спорт! — усмехнулся Крамов. — Пошли!

Мы расположились на пизкой, лишенной растительности скале. Отсюда хорошо был виден водопад, но отдаленный грохот его уже не мешал разговаривать. Николай

Николаевич раскрыл чемоданчик и вытащил две бутылки «Столичной» водки, копченую колбасу, крабовые консервы, семгу, хлеб и пластмассовые стаканчики.

Расставив снедь на большом плоском валуне, он проговорил, разводя руками:

— Вина нет. Хотел достать сухого, но в нашем магазине не держат. Говорят, не по климату...

— Терпеть не могу кислятину! — озорно тряхнув головой, сказала Светлана. — На худой конец лучше водка.

— Великолепно! — воскликнул Крамов.

— Чем же тут восхищаться? Вам праявятся пьяные женщины? — чуть подняв плечи, спросила Светлана. — По-моему, нет ничего противнее.

— Я не терплю пьяных, ни женщин, ни мужчин, — ответил Николай Николаевич. — Но также не люблю женщин, которые жемапно потягивают через зубы какую-нибудь кислотоватую дрянь. Я им не верю.

— Не верите, что в душе они не жаждут водки? — рассмеялась Светлана.

— Нет. Вообще не верю. Вообще...

Я начал разливать водку в пластмассовые стаканчики. Их оказалось только два. Крамов снова развел руками.

— Еще раз прощу извинения! Сервировки явно не хватает. Что ж, мужчины будут пить в очередь.

— Все в порядке, — сказала Светлана. — Андрей не пьет.

— Кто тебе сказал, что я не пью? — неожиданно для самого себя резко спросил я.

— Ну и отлично, если пьешь, — примирительно сказал Крамов. — То, что останется в бутылке, мое. Если граммов двести потянет, я в обиде не буду.

И он палил мне полную стопку.

— Если Андрей действительно не пьет, я на его месте гордился бы этим, а не смущался, — продолжал Крамов. — Говорят, Наполеон не пил ничего, кроме воды. Когда его спрашивали почему, он отвечал, что только заурядным людям нужно вино для поднятия жизненного тонуса, у него же тонус высок и без вина.

Меня начинали злить все эти разговоры.

— Не довольно ли заниматься моей персоной? — громко сказал я. — И, насколько я знаю, вы, Николай Николаевич, тоже не пьете? Помните, вы отказались на именинах?

— Ну, там другое дело, — ответил Крамов, — воспитательный, так сказать, фактор...

— Хорошо, — сказал я. — Значит, пьем! — И поднял стопку.

— Э-э, нет, погодите! — воскликнул Крамов. — Вы что ж, забрались за Полярный круг, сидите в двенадцать часов ночи под ярким солнцем и собираетесь выпить первую стопку без тоста? Не выйдет! Я хочу предложить тост за Андрея. За его успехи и за всестороннее, так сказать, счастье. Вот мы иногда недовольны тем, что современные писатели рисуют слишком уж идеальных людей, и говорим: «В жизни таких не бывает». Однако вот перед нами Андрей, классический тип советского молодого человека. Вы согласны со мной, Светлана Алексеевна? — неожиданно спросил Крамов.

— Конечно, — быстро ответила она. — Андрей настоящий человек.

Наверное, в эти минуты лицо мое было красно, как тот камень «лопарская кровь».

— Это... это же просто глупо, товарищи... — начал было я.

Но Крамов прервал меня:

— Итак, я предлагаю выпить за Андрея. Всякие возражения отклоняются. Пьем! — И большим глотком отпил прямо из горлышка бутылки.

Светлана выпила вместе с ним.

А мне не хотелось. Что-то необъяснимо неприятное возникало между нами, что-то такое, что настораживало и тревожило меня. Мне хотелось избавиться от этого ощущения, подавить, заглушить его, хотелось, чтобы все осталось как прежде.

И, может быть, поэтому я залпом выпил свою стопку. Но ощущение тревоги не проходило. Больше того — я почувствовал непреодолимое желание сказать о нем и посмотреть прямо в глаза Николаю Николаевичу.

— Ни к чему этот ваш тост, Николай Николаевич, — проговорил я. — Тоже, нашли героя нашего времени! Но раз вы оба выпили, я тоже выпил. Спасибо, конечно... Только хочу вам сказать, что никакой я не символ, не идеал, не классический тип, чепуха все это, простите меня! Просто вы иронизируете... Я ведь только еще начинаю жизнь...

— Но задумал многое? — прервал меня Крамов, и, должен признаться, он задал этот вопрос таким простым, таким доброжелательным тоном, что все мое раздражение сразу исчезло.

— Много, Николай Николаевич, — ответил я.

— Например?

— Сразу не расскажешь. Да я и сам толком не знаю. Когда я смотрю на эти горы, мне в каждой хочется пробить туннель.

— Ну, на то, чтобы пробить эти горы, твоей жизни не хватит, — усмехнулся Николай Николаевич. — Ты смотришь на горы глазами поэта, а не инженера.

— Может быть, может быть... — повторил я.

Светлана, поджав ноги и обхватив колени руками, внимательно смотрела на меня.

— Ну, друзья, будем пить! — подчеркнуто громко сказал Николай Николаевич.

Он взял мою стопку, резким движением налил себе водки и залпом выпил.

— Я хочу предложить еще один тост, — сказал он внезапно изменившимся голосом, наливая водку в стопки и ни на кого не глядя. — По молодости лет, друзья, вам не пришлось быть на фронте. Ваша самостоятельная жизнь началась с более поздней страницы истории. Это ваше счастье и... горе. Горе потому, что вы многого не увидели в жизни. И-ну, дело не в этом...

Он стал едва заметно заикаться. Я подумал: не так-то уж крепок Николай Николаевич на водку.

— На войне я встречал два типа людей, — продолжал Крамов. — Одни всю войну провели в траншеях. Они шли вперед, если был приказ, и могли месяцами сидеть в залитых болотной водой блиндажах, если приказа не было. Все по уставу... Но были и другие люди. С самого начала они просились туда, где горячо. В разведку, скажем. «Или голова в кустах, или грудь в крестах...» Это были смелые люди. Они не боялись риска. Один день их боевой работы по напряженности и опасности был равен месяцу окопной жизни. Многие из них погибали. Но те, кто оставался живым, пользовались славой и уважением. Они не растягивали на годы уплату своего долга государству. Они были исправными плательщиками и отдавали долг сразу...

— А потом? — неожиданно для себя спросил я.

— П-потом? — переспросил Крамов и добавил тише: — Это уже другой вопрос. — И поднял стопку. — П-цью за смелых, не боящихся риска людей!

— Нет! — вдруг воскликнул я. — Не хочу!

— П-почему? — откидывая голову и сжимая губы, спросил Крамов.

— Вы простите меня, — сказал я, торопясь, чтобы Крамов быстрее понял меня. — Я очень уважаю вас... я... я люблю вас, Николай Николаевич, вы так помогли мне! И смелость люблю. Но сейчас вы сказали что-то не то. Я... я просто не могу еще разобраться... Наверное, водка мешает...

— Нет, пейте! — неожиданно резко и даже злобно сказал Николай Николаевич. — В-вы не знаете жизни, а я испугал ее вдоль и поперек. Пейте!

— Не могу!

— Ну хорошо. Второй раз приходится пить в одиночку.

Он медленно выпил водку.

— А вы зря отказываетесь, Андрей, — сказал Крамов подобранным голосом. — В вас ведь тоже кипит жажда борьбы. А? Вы хотели перекричать водопад? Только это было тщетное усилие. А в-вы помните, как о-один человек переплыл Ниагару? В бочке, кажется. С-словом, я предлагаю искупаться, и без бочек. — И он преувеличенно твердым шагом пошел к водопаду.

До сих пор мне смешно — нет, стыдно вспоминать о том, что произошло дальше. Точно кто-то с силой толкнул меня и поднял на ноги. Я быстро пошел вслед за Крамовым, на ходу снимая рубашку.

Но в эту минуту Светлана, которая точно в оцепенении, но с любопытством следила за нами, внезапно кинулась за мной и закричала Крамову:

— Прекратите! Сейчас же прекратите эти глупости, Николай Николаевич! Я требую!..

Крамов не останавливался. Светлана догнала его, забежала вперед и проговорила порывисто:

— Хорошо, купайтесь! Но подождите немного, мы с Андреем уйдем. А вы купайтесь. Идем, Андрей!

Какое-то мгновение мы стояли неподвижно. Потом Крамов повернулся к нам и сказал как ни в чем не бывало:

— Купание отменяется, друзья. В водопадах и горных речках очень холодная вода. Я об этом з-забыл. Купания не будет.

Мы медленно побрели к озеру, где нас ждал катер.

Прогулка была испорчена. Мы молча перешли на катер. Как часто это бывает после неприятного инцидента, о котором всем хочется позабыть, мы пробовали говорить о чем-то другом. Светлана раза два громко засмеялась. Но все наши разговоры и смех как-то сразу обрывались, усиливая неловкость...

До пристани мы добрались часа в три ночи. Николая Николаевича ждала машина.

Он довез нас до дому и сказал на прощание:

— Вот что, друзья, я прошу меня извинить. Просто, как говсрится, перебрал.

Он сказал это простым, искренним тоном, без всякой рисовки.

— Ну что вы, Николай Николаевич, — поспешно проговорил я, — прогулка была замечательная...

— Тем лучше, — невесело усмехнулся Крамов и, приветливо пожелав нам спокойной ночи, уехал.

Мы остались вдвоем. Что-то мешало нам расстаться. Думаю, у нас обоих была невысказанная, но настойчивая потребность сгладить неловкое впечатление от прогулки.

Я проводил Светлану до дверей ее домика.

— Что-то не узнаю Николая Николаевича, — сказал я. — Наверное, ему нельзя пить. Это бывает. Помнишь, на нашем этаже жил Володька Спирин? Такой спокойный, уравновешенный парень... А как выпьет — точно подменили человека.

Светлана молчала.

— Я тоже с чего-то взбеленился, — смущенно продолжал я. — Сначала этот нелепый гост, потом купание...

— Странный он человек, — медленно и задумчиво сказала Светлана.

Я был рад, что она нарушила молчание, ухватился за ее слова и продолжал:

— Да нет, что ж тут странного? Видишь ли, мы с тобой малые ребята перед ним. Он человек другого поколения, много видел, много испытал. С этим надо считаться. Что стоит за нами? Школа, институт. А за ним — постро-енные туннели, война, жизненный опыт...

— Не понимаю, при чем тут это?

— Ах, ну как ты не можешь понять! Мы не можем мерить Крамова на свой аршин. Может быть, ход его мыслей, ну, его ассоциации, что ли, не всегда нам понятны. Он может сказать не так, как сказали бы мы... Словом, нам трудно судить его. Не все, Светлана, укладывается в дважды два — четыре.

— В этом ты, пожалуй, прав, — раздумчиво сказала Светлана.

Я не понял, к чему относятся ее слова — к моим размышлениям о Крамове или к «дважды два».

И вдруг я почувствовал, что мне трудно говорить об этом со Светланой. Я никак не мог догадаться, о чем она думает сейчас. Вместе с тем невозможно было так просто проститься с ней, я чувствовал, что мы не должны разойтись сегодня, не сказав еще чего-то друг другу.

— Можно мне зайти к тебе? — спросил я.

— Да, конечно.

Мы вошли в ее маленькую комнатку. Светлана опустила шторы и зажгла свет. Я сел на нары. Светлана стояла, прислонившись к стене. Я заметил, что она медленно переводит свой взгляд с дощатой ребристой стены на нары, где в беспорядке валялись ее платья, на висящий на гвозде пыльный комбинезон, на уже покоробившийся, пожелтевший от накала лампы абажур из бумаги.

Потом она откинула голову и стала смотреть на потолок. О чем она думала сейчас? О Москве? О горах, между которыми мы недавно плыли?

Внезапно всем сердцем, всем своим существом я почувствовал, что есть что-то, от чего мне надо немедленно, сейчас же, отвлечь Светлану, что она в эти минуты уходит, уходит от меня...

И то чувство покоя, уверенности в Светлане, в ее любви ко мне, уверенности в том, что все мои сомнения позади и ничто уже не может разлучить нас, оторвать друг от друга, это спокойное, радостное чувство вдруг исчезло. Я ощутил щемящую пустоту внутри себя.

Эту пустоту пужно было немедленно заполнить. Я не должен уходить из этой комнаты, не должен ни на миг расставаться со Светланой. С этой минуты мы должны быть вместе не только в мыслях, не только в ощущениях, но и физически быть вместе.

Сделав шаг к Светлане, я обнял ее. Сердце мое колотилось, я долго не мог произнести ни слова.

Светлана оставалась все такой же далекой от меня, отсутствующей. Правда, она положила руки на мои плечи, но мысли ее были далеко.

И вдруг она точно вернулась ко мне, вернулась из дальнего путешествия. Пальцы ее ожили на моих плечах. Она улыбнулась, притянула к себе мою голову, прижалась лицом к моей щеке.

— Светлана, Света, — говорил я, — давай отныне будем вместе. Давай никогда-никогда не расставаться. Будем жить здесь, в этой комнате. Вот сейчас, теперь... Я не уйду. Мы будем вместе всегда, всегда...

Она обхватила своими горячими руками мою голову и прижалась к моим губам... Потом чуть оттолкнула меня, села на нары и сказала:

— Сядь, успокойся. Давай посидим вот так, тихо-тихо...

Я сел рядом с ней.

— Андриша, тебе надо идти, — убеждающе и подчеркнуто спокойно сказала Светлана.

— Я не уйду! — крикнул я.

— Подожди, не перебивай, — настойчиво сказала Светлана. Она помолчала немного. — В этой комнате нельзя жить вдвоем. Ты же сам знаешь, что это просто невозможно сейчас.

— Разве в таких случаях может иметь значение размер комнаты?

Светлана улыбнулась.

— Какой ты нетерпеливый! Ведь я с тобой, приехала к тебе, мы вместе... Разве не так? — Она посмотрела мне прямо в глаза и спросила: — Или, может быть, ты не веришь мне?

Нет, я верил ей. Я снова верил ей! Я уже не ощущал пустоты в душе.

— А теперь иди спать! — решительно проговорила Светлана и встала. — Иди, прошу тебя!

Что-то было в ее голосе, что заставило меня подчиниться. В нем была нежность и вместе с тем что-то настойчиво-требовательное. Спустя час, когда я лежал без сна у себя в бараке, на жестких нарах, слушая дыхание спящих людей, я так и не мог понять, почему я подчинился, ушел, не остался у Светланы.

Но я ушел. Может быть, переход от сознания, что утешительно что-то важное, к прежнему ощущению уверенности был слишком резок, слишком потряс меня, слишком обрадовал...

7

Прошел месяц.

Теперь наш участок нельзя было узнать. Мы проложили в горе штольню длиной в шестьдесят метров. По рельсам бегали два электровоза.

Еще недавно мне казалось, будто я попал на отсталое, заброшенное, затерянное строительство. Мы начинали, имея только пять бурильных молотков, десять вагонов и дряхлый мотовоз...

Теперь мне казалось, что грохот наших взрывов, гул бурения слышны по всей стране, и мы перестали чувствовать себя на отлете. Прибыл электровоз, за ним второй, были доставлены новые, тридцатидвухкилограммовые бурильные молотки. Мы оборудовали зарядовую станцию для электровозов, заменили старый компрессор двумя новыми.

В те дни люди и туннель составляли одно целое. Вы понимаете меня? Я пишу без всяких там символов, как было, так и пишу. В проходе есть свой ритм, он и стал ритмом нашей жизни...

Мы вели круглосуточную атаку горы. Завеса буровой пыли прикрывала забой, в который вбивались пять бурильных молотков. Она опадала только на короткое время, когда заканчивалось бурение и запальщики закладывали в шпурсы аммонитовые патроны.

Это случалось шесть раз в сутки. Шесть раз, днем и ночью, мы все покидали туннель, и наше место занимали запальщики со своими брезентовыми, набитыми красными патронами сумками.

И тогда взрывы потрясали гору. Соседние горы отвечали эхом на эти удары, вода мертвого озера вздрагивала и покрывалась рябью...

В те дни я чувствовал себя уверенным, как никогда. Все свои прежние тревоги я связывал с нашими неудачами. Ведь в институте нас учили применять новейшую, передовую технику. Поэтому я и растерялся, столкнувшись с трудностями первого периода нашей работы, когда

78

техники у нас не было. Теперь все изменилось, я и Светлана чувствовали себя во всеоружии.

Нет, все-таки я сейчас неправду пишу. Где-то в глубине души у меня живет стремление объяснить все, что я пережил, слишком простыми причинами.

Это наивно, конечно, — утверждать, что новая техника разрешила все сомнения и тревоги. Моих отношений со Светланой, например, она не прояснила.

Мне трудно разобраться во всем этом. С той памятной ночи я чувствовал, что между мною и Светланой стоит какой-то нерешенный вопрос. Не было ничего реального, ничего такого, что можно было бы обсудить, о чем необходимо было бы поспорить. И все же что-то стояло между нами. Я вдруг понял, что Светлана еще не решила, будет ли моей женой.

Было множество разумных, естественных и легко объяснимых обстоятельств, побуждающих нас повременить с браком. Нам негде было жить — это раз. Семейные отношения между начальником участка и инженером, фактически его помощником, могли вызвать разные кривотолки — это два. Словом, элементарных объяснений нерешительности Светланы можно было найти много.

Однако что-то подсказывало мне, что дело не в этих обстоятельствах или не только в них.

После той ночи мы, в сущности, ни разу не оставались наедине. Да и времени у нас для личных разговоров почти не было. Мы оба так уставали, что, окончив рабочий день, едва добирались до своих постелей.

Но ощущение победы, сознание, что все трудности позади, недолго владели нами.

Дело в том, что, неуклонно продвигаясь в глубь горы, мы все же отставали от темпов проходки на западном участке. Каждый день Крамов обгонял нас на метр или полметра, и к концу недели мы всегда значительно отставали от него.

С западным участком и комбинатом нас соединял теперь телефон. Обычно в субботу я снимал трубку и без волнения вызывал Крамова, чтобы спросить: «Ну как успехи, Николай Николаевич?»

И всегда оказывалось, что Крамов нас обогнал. Вслед за этим раздавался телефонный звонок из комбината. Начальник управления строительства Фалалесев официально сообщал, что мы отстали от западного участка на

79

4, 5, 7 метров и что «надо наконец сделать из этого вывод».

В наших отношениях с Крамовым после прогулки на озеро как будто ничего не изменилось. Николай Николаевич часто звонил нам по телефону, иногда, в воскресные дни, заезжал. Со Светланой у него установились ровные, товарищеские, деловые отношения, но она, как мне казалось, говорила с Крамовым с едва уловимым оттенком неприязни.

Впрочем, это я не совсем точно выразился. Неприязнь — не то слово. В тоне Светланы слышались настороженность, недоверие и только потом неприязнь. Когда мне приходилось присутствовать при их разговорах, даже на самые нейтральные, будничные, деловые темы, мне всегда казалось, что за внешней формой прячется какой-то иной, скрытый смысл.

Впрочем, я забегаю вперед...

В тот день мы проходили сотый метр штольни.

В этой цифре нет ничего внушительного, никакого повода для праздника, и все же нами овладело праздничное настроение. С утра рабочие стали бриться, зеркальце Светланы переходило из рук в руки. Кто-то прикрепил к туннельному порталу маленький красный флажок. Бурильщики, которые должны были забурить шпуров сотого метра, и отпальщики, которым предстояло взорвать породу, чувствовали себя именинниками.

Когда шпуров были забурены и в забое, на высоте человеческого роста, появились черные отверстия, я распорядился приступить к отпалке.

Двое запальщиков, спокойно и подчеркнуто безучастно сидевшие возле своих брезентовых сумок со взрывчаткой, нарочито медленно, как бы лениво, поднялись, взяли сумки и пошли к забою. На их лицах застыло серьезное, даже угрюмое и вместе с тем чуть снисходительное выражение: эти люди пришли делать свое настоящее, серьезное дело, опасное и необходимое дело, после того как другие люди закончили свои менее рискованные, второстепенные дела.

Один из запальщиков отвернул резиновый планг от бурового молотка, присоединил к плангу металлическую трубку и струей воздуха стал продувать шпуров, очищая их от буровой грязи. Затем он шестом не спеша измерил

глубину шпуров, определяя необходимое количество взрывчатки.

Младший запальщик стал подавать старшему красные длинные, оклеенные парафиновой бумагой патроны с аммоналом, а тот неторопливо закладывал их в шпуров.

Запальщики работали, как бы ничего не замечая вокруг. И казалось, что между ними и нами встала невидимая стена.

Наконец они отошли от забоя и увидели бурильщиков, стоявших в отдалении.

На лицах запальщиков промелькнуло снисходительное недоумение. Так взрослые люди смотрят на ребят, собравшихся там, где им быть совсем не положено.

С этой минуты, по инструкции, запальщики становились полными хозяевами штольни. Мы вышли из туннеля. Через несколько минут из штольни выбежали и запальщики, а еще через мгновение прогремели взрывы. Первые сто метров штольни были пройдены.

Вентиляторы продули штольню, очистили ее от взрывных газов, и мы побежали к забою.

...Вечером приехал Николай Николаевич. Он привез с собой две бутылки виноградного вина. Мы втроем собрались в комнатке Светланы и распили их.

Я сидел на нарах рядом со Светланой. Мысль: «Ну зачем тут Крамов?» — промелькнула в моем сознании.

Когда мы выпили, ощущение досады исчезло, сознание одержанной победы вытеснило все другие мысли. Николай Николаевич в этот вечер так хорошо, так искренне говорил о нашей работе, о том, какая великая вещь дружба, и все такое прочее, что я снова проникся к нему самыми добрыми чувствами. Потом я пошел провожать Николая Николаевича.

Мы шли мимо озера, к дороге, ведущей на западный участок, — там Крамова ждала машина. Остановились полюбоваться озером.

С человеком бывает так: занятый тяжелой работой или серьезными размышлениями, он часто не отдает себе отчета в том, как живет, хорошо или плохо, счастливо или несчастливо. Он все время в грохоте дел. Но вдруг грохот смолкает, и человек внезапно остается наедине с собой и только тогда начинает понимать, хорошо или плохо было ему до сих пор...

Вот и тогда, у озера, я точно перестал слышать грохот, наступила тишина. Мы прошли сто метров туннеля, мы только что дружески провели вечер втроем, сейчас мы стояли в тишине полярного дня, и я вдруг почувствовал, как хорошо я живу.

И я сказал Крамову тихо-тихо, точно боялся своим голосом всколыхнуть воду:

— Вы знаете, Николай Николаевич, мне сейчас так хорошо! У меня такое чувство, будто я один, двумя своими руками, могу пробурить этот туннель!

— Ну, для инженера это уже непростительная иллюзия, — отозвался с добродушной усмешкой Крамов.

— Знаю, знаю, — горячо подхватил я, — все понимаю: мальчишество, ребячество! Но я сейчас чувствую такой прилив сил, такое желание работать... Вы подумайте, Николай Николаевич, как мне везет в жизни! Все сбылось! Все сбылось! Хотел стать инженером-туннельщиком — и стал им. Хотел уехать далеко, на трудную, самостоятельную работу — и поехал... Мне теперь кажется, Николай Николаевич, что я переживаю второе рождение. Нет, это только так говорится — ведь своего первого рождения мы не можем помнить... Только теперь, здесь, я чувствую, что моя жизнь приобретает новые, конкретные очертания. И для того, чтобы жить по-настоящему, надо знать гораздо больше, знать то, чего не проходят ни в каких институтах... Нет, вы не думайте, я сейчас говорю не о наших неудачах с компрессором или врезкой. Я думаю шире... Конкретность жизни надо знать!

— И все же не только в этом причина твоей радости.

— Не только? — переспросил я.

— Есть такая штука на свете, которую разные люди называют по-разному, — чуть щуя глаза и глядя на меня, сказал Крамов. — Одни — любовью, другие, позастенчивее, — чувством, третьи — увлечением... А?

И вдруг одна мысль целиком захватила меня:

«Почему я скрываю от Крамова свои чувства к Светлане? Ведь он мой друг, настоящий друг, он помог мне в самые трудные дни моей жизни! Может быть, поможет и сейчас?»

И, подчиняясь этому побуждению, этой потребности высказать все, чем переполнена душа, я рассказал Крамову о моей любви.

В течение всей моей сбивчивой, взволнованной речи

Николай Николаевич глядел на воду. И вдруг я неожиданно почувствовал, что он почти не слушает меня, что он занят собственными мыслями... Я остановился, словно увидел перед собой обрыв или стену.

Это вывело Крамова из задумчивого состояния.

— Что ж, Андрей, — сказал он как-то очень изда-дека, — я тебя понимаю... Когда-то мне тоже было двадцать три года и я тоже гулял с девушками по московским набережным. А твои сомнения — это пройдет. Сомнения — неизбежные спутники любви, так, кажется, говорится?.. Ну, мне пора ехать.

Он протянул мне руку.

— Простите, что задержал вас, Николай Николаевич, — еле слышно выговорил я.

— Ну, что так раскис? Ты ждал от меня бурного сочувствия? А мне, старику, стало немного обидно за свое одиночество. Молодые люди эгоистичны... Вот и все. А теперь иди спать.

Он повернул меня спиной к себе и слегка подтолкнул.

Так мы расстались. Крамов пошел к машине, я — к бараку. Я шел, ничего не видя перед собой, и чувствовал, как сильно горит мое лицо. До сих пор я никогда и никому не говорил о своем чувстве к Светлане. Никому, кроме нее. Да и с ней не объяснился до конца, все не мог набраться решимости. А теперь я открыл душу, свое «святое святых», постороннему человеку. Несколько минут назад мне казалось, что я не могу поступить иначе. А теперь был в смятении. Я стыдился своего волнения, своей сентиментальности. Я был почти в отчаянии.

Мне вдруг почудилось, что тысячелетняя гора, стоявшая передо мной, живая, что она слышит меня и в глубине своего каменного сердца смеется надо мной.

Проходя мимо домика Светланы, я заметил, что занавеска в ее окне задернута. Значит, Светлана спит.

Пришел на валуны. Холодный ветер обдувал меня.

Крамов рвался вперед. Он продвигался в глубь горы сокрушительно и неуклонно, как тапк.

Мы близки были к выполнению плана проходки. Но Крамов систематически перевыполнял его.

Первое время мне никто не ставил этого на вид. Крамов начал проходку несколько раньше. Он был опытным инженером, со стажем, я же ходил в молодых специалистах. Меня щадили.

Но я понимал, что рано или поздно начальство перестанет «либеральничать», потому что дело есть дело, туннель не учебное заведение, интересы производства прежде всего. Крамова хвалили. Он получил уже благодарность от главка за темпы проходки и две — от руководства комбината.

Но не болезнь нареканий со стороны комбината, не благодарности, полученные Крамовым, волновали меня. Я снова мучился сознанием своей неопытности и тем, что я никудышный инженер. Как же иначе объяснить мое отставание? Условия на моем участке были те же, что и на западном, — твердость породы, оборудование, штаты, — а западный участок опережал восточный каждый день.

Крамов похудел, осунулся. Синие глаза на его открытом лице утратили спокойное выражение. В них появился какой-то тревожный блеск. Видно, и Николаю Николаевичу такие темпы проходки давались нелегко.

Он реже стал бывать у нас. Впрочем, не проходило недели, чтобы он не приезжал на восточный участок.

Я не раз заговаривал с ним о причинах своего отставания. Николай Николаевич как будто ничего не скрывал из своего опыта, охотно отвечал, когда я задавал ему вопросы технического характера, подбадривал в конце разговора:

— Не волнуйся, Андрей, придет время — и ты войдешь в темп. У тебя этот туннель первый, а у меня... Наладится!

И только однажды, когда я с отчаянием сказал: «Тут дело только во мне самом, Николай Николаевич. Голова у меня не так устроена...» — Крамов ответил прописки:

— Не всегда дело в голове, парень. Многие зависит от руки.

И, вытянув вперед руку, он крепко сжал кулак...

Неожиданно произошло следующее: при очередном подведении недельных итогов диспетчер комбината назвал цифру, свидетельствующую о резком снижении темпов проходки у Крамова.

Николай Николаевич откликнулся на это только одним словом:

— Подтянусь...

А еще через несколько дней к нам на участок прибыл нормировщик для проверки норм, установленных мною и Светланой в начале проходки.

Нормировщик был немолодой молчаливый человек. Две смены с хронометром в руках он просидел в забое, наблюдая за работой бурильщиков, грузчиков и запальщиков, несколько часов провел в конторе, орудуя логарифмической линейкой и счетами, и наконец вручил мне аккуратно выписанные на плотном листке бумаги нормы. Эти нормы мало в чем расходились с теми, что в свое время составил я.

Передавая мне свои расчеты, нормировщик сказал:

— Ну, у вас дело обстоит благополучнее, чем на западном. Там такое наворотили...

Я так и вцепился в нормировщика, стремясь вытянуть из него все, что он знает о западном участке.

— Если бы они по своим нормам работали, то весь годовой фонд зарплаты за полгода съели бы, — чуть щури глаза, сказал нормировщик.

Я ничего не понимал.

— Эх, молодой человек! Не зря первые дни строительства иные хозяйственники «золотыми» называют. Ни тебе нормировщиков, ни бухгалтеров... Своя рука владыка...

И я понял. Крамов, пользуясь «золотыми» днями, установил заниженные нормы, и рабочие, получая большие деньги, не щадили своих сил. А вот теперь, когда были введены правильные нормы, его проходка сразу замедлилась.

Это открытие ошеломило меня. Как просто все разъяснилось! Значит, дело не в том, что я плохой организатор, не в том, что Крамов владеет какими-то особыми секретами воздействия на людей. Все проще, элементарнее, грубее.

Я поехал в комбинат, чтобы выяснить, почему же дирекция допускала работу на одном строительстве по разным нормам.

Но по дороге произошла встреча, которая дала моим мыслям несколько иное направление.

Мне пришлось идти мимо знаменитой «шайбы». Из

двери не столько вышел, сколько вывалился пьяный молодой парень.

Конечно, в этом не было ничего неожиданного: в депных местах люди пьют много. Но юноша оказался мне знакомым, хотя я и не мог вспомнить, где встречался с ним.

Он был в резиновых грязных сапогах, в порванной на локтях спецовке.

Когда мы поравнялись, я узнал этого парня.

— Зайцев! — крикнул я.

Парень остановился и посмотрел на меня ленивым, безразличным взглядом.

Ну конечно, это был Зайцев! Тот самый Зайцев, который приходил к Крамову проситься на работу. Но как он изменился за эти месяцы! Раньше это был молодой белесый парень с веснушчатым лицом, весь какой-то солнечный, задорный. А теперь передо мной стоял грязный, всклокоченный человек с тяжелым, сумрачным взглядом.

— Что с тобой, Зайцев?! — воскликнул я. — Почему ты такой?

— Какой это такой? — вызывающе ответил Зайцев, чуть кривя свои обветренные, потрескавшиеся губы. Конечно, он не узнал меня.

— Ведь мы знакомы, — настаивал я, заслоняя Зайцеву дорогу. — Помнишь, ты приходил работу у Крамова просить? Помнишь? «Я на новое хочу, учиться хочу!» Помнишь? Ведь это твои слова!

Какое-то неуловимое, злое выражение промелькнуло в настороженных глазах Зайцева.

Он пробурчал:

— Ну, помню. И что дальше?

Вопрос был поставлен прямо. Я не нашелся что ответить.

И все же попытался расспросить его:

— Как ты устроился? Кем работаешь?

Он ответил ругательством.

Но я уже не мог отпустить от себя Зайцева.

— Послушай, — сказал я, — что с тобой случилось?

Был парень как парень... Ты у Крамова сейчас работаешь?

Зайцев резким движением плеча отстранил меня, но тут же передумал, прищурил глаз и сказал:

— Побеседовать охота? Что ж, поставь сто граммов, «шайба» рядом...

Я пошел с Зайцевым в «шайбу». Я видел, что сейчас это единственный способ удержать его.

Зачем мне это было нужно? Почему я пристал к Зайцеву? Не знаю. И тогда не знал. Попросту меня поразила крутая перемена в человеке.

Мы пробыли в «шайбе» около часа. Я расстался с Зайцевым в плохом настроении. Несмотря на обещание Крамова, он так и остался чернорабочим. Поставили временно и... забыли о нем.

В этом не было ничего исключительного. Чернорабочие, или, как у нас теперь принято говорить, разнорабочие, нужны на любом строительстве. Но меня поразило, как это отразилось на Зайцеве, поразила перемена, происшедшая в нем.

Когда вам говорят, что кто-нибудь умер, вы реагируете на это совсем не так, как если бы человек погиб на ваших глазах. Сравнение, может быть, не вполне подходящее, но в нем есть доля истины. Я вдруг почувствовал ответственность за судьбу этого парня. Мне запомнились его слова: «Поработаю на практике, потом на курсы пойду!» Ведь он в большую жизнь рвался, этот парень!

А теперь в нем что-то сломалось... Я не мог равнодушно видеть это и уговорил Зайцева прийти ко мне завтра на участок. Во мне еще не созрело решение, что делать, на какую работу предложить ему перейти, но я знал — в таком состоянии Зайцева не оставлю.

Время было уже позднее, разговор с Зайцевым задержал меня, и на комбинате я не застал никого из начальства.

Я вернулся на участок. Светлана уже спала.

Утром меня разбудил стук в окно. Я высунулся и, к своему удивлению, увидел Зайцева.

Сегодня он был в чистой спецовке. Помятое лицо его носило следы вчерашней выпивки, но держался он бодро.

Я вышел из барака и сказал, что не ждал его так скоро и еще не успел подыскать для него подходящую работу на нашем участке.

— Да нет! — махнул рукой Зайцев. — Я не за этим пришел. Меня уже перевели на новую работу.

Я был в полном недоумении. Что же могло произойти за одну ночь?

А произошло вот что.

Расставшись со мной, Зайцев вернулся на свой участок. Разговор со мной подогрел Зайцева. Распаленный, озлобленный, он ворвался к Крамову и потребовал перевести его на другую работу.

Крамов ответил резко и велел Зайцеву убираться вон из его комнаты и, если хочет, вообще с участка. Тогда Зайцев сказал, что видел меня, что я обещал ему найти работу на восточном участке.

После этого, если верить Зайцеву, Николай Николаевич сразу изменил тон, рассмеялся, похлопал Зайцева по плечу и сказал, что никому не позволит переманивать рабочих, даже мне, его лучшему другу. Тут же он предложил парню учиться на шофера, вызвал шофера грузовой машины и приказал ему в трехмесячный срок подготовить Зайцева к испытаниям на получение водительских прав.

Рассказ Зайцева почему-то неприятно подействовал на меня. Почему Крамов проявил такую поспешность? Но, так или иначе, Зайцев был счастлив. И я тоже. Я поздравил парня и простился с ним.

Однако я не забыл о Зайцеве. У меня были свои планы. И я решил посоветоваться со Светланой.

Она встретила мой рассказ довольно равнодушно. Но когда я изложил разговор Зайцева с Крамовым, Светлана вдруг заинтересовалась, как-то зажглась внутренне и воскликнула:

— Надо что-нибудь сделать для парня! Только что?

И тогда я развернул перед ней свой план — помочь Зайцеву подготовиться к экзаменам в горный техникум.

— Если бы нам с тобой покрепче взяться и подготовить его по математике и русскому... — перепитительно предложил я.

Светлана тотчас же с радостью согласилась. Правда, спустя минуту она спросила с сомнением в голосе:

— Но ведь этот Зайцев живет за восемь километров от нас?

— Он будет приходить к нам два раза в неделю.

— И делать по шестнадцати километров в день?

— Будет делать.

После этого я рассказал Светлане историю с нормами у Крамова. Как ни удивительно, она обрадовалась так, будто я сообщил ей приятную новость, будто эта новость разрешила какие-то ее сомнения.

Светлана поцеловала меня в лоб, взъерошила волосы и сказала весело:

— Вот видишь! А ты из этого Крамова бога себе создал, кумира какого-то!..

С большим волнением ждал я подведения итогов за очередную неделю. Ведь теперь западный участок работал по тем же нормам, что и наш. В комбинате меня заверили, что ко мне претензий нет, что Крамов получил замечание за произвольное завышение расценок и теперь оба участка работают в равных условиях.

И вдруг неожиданность. На субботнем подведении итогов выяснилось: западный участок, который в прошлую неделю дал проходку на тридцать процентов ниже нашей, теперь снова, работая уже по новым нормам, вырвался вперед, обогнав нас на два и три десятых метра!

Я совсем упал духом. Очевидно, тягаться с Крамовым было бесполезно. Он талаптивный организатор и отличный специалист. Я должен учиться у него — долго, скромно, терпеливо.

Но, несмотря на этот сделанный мною горький вывод, отношение мое к Николаю Николаевичу стало медленно, почти незаметно меняться. Почему же, почему? Иной раз я ловил себя на том, что, завидя Крамова, уже не стремлюсь, как прежде, подойти к нему, не спешу поделиться с ним своими радостями и заботами.

Иной раз мне казалось, что причины моего изменившегося отношения к Николаю Николаевичу низменны. Вероятно, я попросту завидую ему.

Но нет, не мог я отыскать в сердце своем чувства зависти к этому человеку. Я даже прощал ему историю с нормами. Было недовольство собой, иной раз отчаяние, стремление разгадать секрет крамовских успехов, но зависти не было, это я утверждаю.

Я пытался взять себя в руки, по две смены не выходил из забоя, стремясь понять, найти причины отставания, собирал рабочих, разбирал итоги работы каждой смены и однажды, уже в совершенном отчаянии, пришел к Трифонову.

Впрочем, нужно сказать сначала, кто такой этот Трифонов.

Примерно на второй месяц после начала работ к нам на участок пришел пожилой, медлительный в движениях, худощавый человек, одетый в короткое пальто-пиджак грубой шерсти, и протянул мне бумажку-направление. В ней было написано, что Трифонов Павел Харитонович назначается на наш участок сменным мастером.

Сказать по правде, я и обрадовался и огорчился. Обрадовался я тому, что смену, которая до сих пор оставалась без квалифицированного руководства, теперь кто-то возглавит, а огорчился оттого, что Трифонов не инженер, хотя я просил комбинат прислать нам именно инженера. Трифонов, видимо, сразу увидел мое огорчение.

Слышал, вам инженер нужен. Это правильно, на смену надо инженера ставить. Только потерпеть придется, инженера пока нету.

Он чуть усмехнулся и как-то сразу всем своим обликом завоевал мою симпатию. Может быть, он привлек меня своим несколько старомодным пальто-пиджаком, в котором раньше, как мне почему-то представлялось, ходили только строительные десятичники, своим аккуратно повязанным галстуком и белой, неожиданной для этих мест сорочкой, интеллигентной манерой говорить?

Не знаю, чем он привлек меня! А только я сразу заинтересовался этим человеком.

Позже оказалось, что Павел Харитонович был старым питерским рабочим, более двадцати лет назад уехавшим, по призыву Кирова, осваивать Север и с тех пор все время работавшим в этих местах. Несколько позже я узнал, что Трифонов с 1918 года в партии.

Я с детства испытываю чувство преклонения перед старыми большевиками. В Москве на одной с нами лестничной площадке жила старая женщина, член партии с 1903 года. Я очень мало знал о ней — мы уехали из этого дома, когда мне было семь лет. Помню только, что ее звали Анна Акимовна и что в семье нашей о ней всегда говорили с большим уважением.

Много позже я как бы воссоздал для себя образ Анны Акимовны. Я был уверен, что она прошла через все царские ссылки, участвовала в трех революциях и могла ответить на все вопросы жизни.

И вот на нашем участке появился член партии с 1918 года, старый большевик. Я ждал, что он с первых же шагов как-то необычно проявит себя, сделает что-то

сильное, важное, яркое... Но ничего такого Павел Харитонович не сделал. Он спокойно занял свое место в бараке, разложил пожитки, получил спецодежду, переоделся и сразу превратился в типичного горняка, ничем не отличающегося от всех наших рабочих.

Мастером Трифонов был опытным — это я понял с первого же раза, наблюдая, как он руководит бурением в своей смене.

Однако очень скоро Трифонов дал о себе знать, причем в совершенно неожиданных обстоятельствах, и обстоятельства эти были связаны со Светланой и Агафоновым.

Федор Иванович Агафонов, один из тех двух рабочих, что долбали породу ломами, когда я в первый раз появился на участке, был человек угрюмый и малоразговорчивый. Все лицо его было изрезано морщинами, в которые навеки вделась буровая пыль, и ходил он сутулившись и чуть вобрав голову в плечи, как многие старые горняки.

Старожил здешних мест, Агафонов уже в начале тридцатых годов работал на апатитовом руднике, потом на никелевом, потом еще где-то...

Так вот, у этого Агафопова никак не ладилась отношения со Светланой. С того самого дня, когда Светлана, оставшись одна, растерялась и остановила работу, Агафонов невзлюбил ее. Получая от нее указания, он почти всегда отмалчивался, а если и отвечал, то односложными словами.

Но Светлана не терпела, чтобы к ней относились безразлично, и старалась при всяком случае завоевать расположение Агафопова.

Она стала говорить с ним подчеркнуто внимательно, восторгалась его мастерством и знаниями, советовалась с ним даже в тех случаях, когда могла бы обойтись своими силами.

Однажды Светлане даже удалось затанцевать Агафопова к себе в комнату и угостить чаем. Агафонов выпил один стакан, вымолвив за все время не более двух-трех слов. Я посмеивался над Светланой.

— Ну зачем он тебе нужен? У человека нелюдимый характер, ну и оставь его в покое. Горняк он отличный, и этого вполне достаточно.

Но Светлана не успокоилась. Она буквально штурмовала Агафопова. И наконец старая крепость пала. В одну

из светлых полярных ночей Агафонов признался Светлане, что он тоскует, недоволен прожитой жизнью и что будущее страшит и беспокоит его.

В ту ночь Светлана узнала многое о старом горняке.

Более двадцати пяти лет назад, совсем еще молодой, Федор Агафонов захотел вольной жизни, бросил жену, с которой прожил несколько лет, и начал одинокую, скитальческую жизнь.

Сначала эта жизнь увлекала его — тяжелая, но беззаботная жизнь в бараках, в палатках, установленных на ледяном ветру, трудная работа в горах и бездумное возвращение в холодный барак, на плохо прибранную с утра койку.

Он рассказал Светлане, как партизилл здесь, в Заполярье, во время войны и как этот период его жизни, опасный и трудный, кажется ему теперь самым счастливым. Но кончилась война, ему уже было за пятьдесят, начинать новую жизнь, заводить новую семью не доставало сил, а впереди маячила одинокая, бесприютная старость.

И вот Агафонова начало мучить желание узнать, что стало с его женой Любой, давно брошенной им. С каждым днем оно становилось все сильнее, все острее, пока не завладело всем его существом.

Он ничего не знал о ней, не знал, жива она или умерла, замужем или по-прежнему одинока, не знал ничего с того дня, когда бросил ее в маленьком среднерусском городке.

Но Агафонов сказал Светлане не всю правду. Вся правда заключалась в том, что он, сам еще отчетливо не сознавая этого, страстно желал перемены в своей жизни — возвращения к жене. Рассудком он понимал всю трудность, даже невозможность осуществления этой своей тайной мечты, и все же он жил ею, лелеял ее, эту мечту, сознавая в то же время, что никогда не решится предпринять розыски. Характер его переменялся, Агафонов стал замкнутым, молчаливым и суровым.

Но Светлана женским чутьем поняла его. И, поняв, вбила себе в голову, что ее долг — разыскать далекую и безвестную женщину Любу и снова соединить ее с Агафоновым.

Она взялась за дело с той же настойчивостью, с какой добивалась от Агафонова откровенности. Когда она пове-

дала мне о своих планах, я сказал, что, по-моему, затея Светланы хоть и романтична, но все же несколько рискованна: как можно, не зная ни характеров, ни жизни двух людей, заочно пытаться соединить их?

Но замечание мое Светлана пропустила мимо ушей. В первое же воскресенье она отправилась в поселок и дала телеграмму на родину Агафонова в горах с просьбой сообщить местонахождение Любови Дмитриевны Агафоновой, до замужества Коротеевой. Уже на четвертый день пришел ответ: лицо с указанной фамилией в городе не проживает.

Светлана не сдалась и послала авиаписьмо секретарю городского комитета партии. Сообразив, что ничто так не может заинтересовать секретаря, как вопрос о человеческих судьбах, она умело намекнула в этом письме, что речь идет о старом рабочем, бывшем партизане, и его жене.

Ответ был получен через десять дней. Секретарь горкома сообщал, что, по наведенным справкам, Любовь Дмитриевна Агафонова-Коротеева действительно проживала в городе до войны, но затем эвакуировалась на Урал, кажется в Свердловскую область. Больше ничего о ней горкому не известно. В конце следовал совет обратиться в Свердловский обком партии.

С каждой неудачей настойчивость Светланы возрастала. Она затеяла переписку со Свердловским обкомом и областной милицией. Писала людям, которые знали семью Агафоновых еще в тридцатых годах, — их фамилии она узнала от Федора Ивановича.

Теперь старый горняк при встречах со Светланой уже не отворачивался от нее, нет, он глядел в ее глаза с надеждой и ожиданием...

Наконец Светлана добилась своего. Из Свердловской областной милиции пришло письмо, в котором сообщалось, что Любовь Дмитриевна Аносова, по-прежнему мужу Агафонова, а в девичестве Коротеева, сорока восьми лет, проживает в Свердловской области, в городе Ельске, вместе со своим мужем, майором в отставке Аносовым. Далее следовало название улицы и номер дома.

С этим письмом Светлана помчалась к Агафонову.

Я только что пришел в барак, чтобы рассказать Трифонову историю с нормами, но едва начал говорить, как Светлана влетела в барак, размахивая письмом.

Агафонов еще не вернулся с работы, и она радостно сказала мне:

— Письмо! Наплась Агафопова!

Павел Харитонович Трифонов повернул голову к Светлане и сказал спокойно, но властно:

— Дайте сюда письмо!

Я никогда не замечал особой дружбы между Трифоновым и Агафоновым и привык думать, что судьба Агафопова глубоко безразлична сменному мастеру. Властная интонация в его голосе удивила меня.

— Собственно, почему вам? — внезапно смутившись, спросила Светлана.

— Дайте письмо! — повторил Трифонов.

Он сказал это так, что его нельзя было не послушаться.

Светлана покорно протянула ему письмо. Он не спеша, внимательно прочитал письмо, потом снова вложил его в конверт и вернул Светлане.

— Зачем вы затеяли все это, товарищ Одинцова? — глядя Светлане в глаза, спросил Трифонов. — Разве человек — игрушка?

Краска залила лицо Светланы.

— Как вы можете так говорить! — взволнованно ответила она. — Ведь вы же ничего не знаете о них!

— Знаю. Агафонов живет здесь, рядом со мной. Что вам надо от него?

— Я хочу, чтобы он был счастлив! — воскликнула Светлана. — Разве это не мое право? Разве я обязана спрашивать у вас разрешения, чтобы сделать человеку добро?

— Подождите, — неожиданно мягко прервал ее Павел Харитонович. — Вот вы сказали: «Сделать человеку добро». Но ведь добро надо всерьез, обдуманно делать. Нищему походя рубль бросить — тоже добро, да чего оно стоит? Бросили и забыли.

— При чем здесь эти жалкие слова? — резко сказала Светлана. — Нищий, рубль... При чем здесь нищий?

— Я хочу сказать, — не повышая голоса, продолжал Трифонов, — что добро можно делать по-разному. Послушайте, Светлана Алексеевна, ну что может получиться из вашей затеи? Они не виделись много лет. Разные жизни... Она замужем, — видите, майор в отставке. Есть ли у вас право издалека и самочинно вмешиваться в их судьбы?

— Но ведь он страдает!

— Не лицемерьте! — с внезапной строгостью сказал Трифонов. — А о ней вы подумали? А о майоре? Ведь вас только внешняя сторона этой истории занимает — поиски, письма, ответы... «Ах, как интересно все получается! Кашу заварили — посмотрим, что теперь выйдет!..» Кто для вас эта Люба? Этот майор? Да и Агафонов тоже? Люди? Куклы?

Я молча наблюдал эту сцену. Все было неожиданно для меня: и то, что Трифонов знает о переписке Светланы, и самая манера Трифопова говорить, и растерянность Светланы... Она ушла с глазами полными слез. Сейчас она и впрямь показалась мне ребенком, у которого отняли любимую игрушку.

И все-таки мне было очень жаль Светлану и обидно за нее.

Когда она ушла, я сказал Трифонову:

— Думаю, вы зря напали на нее, Павел Харитонович.

— Ты так думаешь, Андрей? — неожиданно обращаясь ко мне на «ты», спросил Трифонов.

...В тот же день к нам приехал Крамов. Не помню, зачем он приехал, — кажется, решил попросить займы пилапги, — и, как обычно, остался у нас до вечера.

Светлана на этот раз не показывала Николаю Николаевичу своей обычной неприязни, а он все время называл ее «товарищ преподаватель» и подшучивал над ее занятиями с Зайцевым.

Помню, Николай Николаевич был оживлен, шутлив, и я радовался, что и Светлана как-то воспрянула духом, ожила после неприятного разговора с Трифоновым.

Но на другой день Светлана впала в какое-то оцепенение. Я уже не раз замечал, что после встречи с Крамовым она всегда меняется: то становится раздражительной, то с новой энергией бросается в работу, но две смены не выходя из забоя, то подчеркнуто ласково и нежно обращается со мной, то вдруг вовсе перестает замечать меня.

Нет, я не сразу обратил на это внимание. Может быть, именно теперь, после этой последней встречи с Николаем Николаевичем, мне вспомнились все предыдущие. Существовала какая-то связь между этими встречами и настроением Светланы.

Так или иначе, но на этот раз Светлана выглядела подавленной и усталой. Утром из своего домика она вышла в грязном комбинезоне. Мне показалось, что она забыла даже умыться.

Шли дни. И вдруг совершенно случайно я обнаружил, что Светлана уже вторую неделю не занимается с Зайцевым. На моем уроке математики я обратил внимание на то, что Зайцев ряд слов произносит неправильно, и сказал ему, что надо больше читать. Из дальнейшего разговора выяснилось, что Светлана прекратила свои уроки по русскому языку.

— Почему ты не сказал мне об этом? — спросил я.

Зайцев смутился:

— Вероятно, очень занята...

Меня очень раздосадовал и разозлил этот случай. Я тотчас же побежал к забюро и разыскал Светлану.

— Почему ты перестала заниматься с Зайцевым?

— Пропустила несколько уроков, — как бы не замечая моего раздраженного тона, спокойно ответила она.

— Если взялась, то нечего манкировать.

Светлана спросила:

— Почему, собственно, такое раздражение?

— Потому что парню надо сдавать экзамены в техникум, — ответил я. — Это дорога в его будущее. А ты отнимаешь у него это будущее! Ему надо больше читать, писать...

Светлана промолчала.

Я почувствовал, что тон мой излишне резок, и сказал мягче:

— Мы же договорились, Света, что поможем ему. Значит, надо держать слово. Ведь парня один раз уже обманули у Крамова. Зачем же делать это второй раз?

И на этот раз Светлана ничего не ответила. Но в тот же вечер пошла в барак, где ее ждал Зайцев.

Он сидел у окна и что-то писал, когда вошла Светлана.

— Ну что ж, Зайцев, будем продолжать записки, — сказала Светлана.

В столе не было ящика, и она заметила, что Зайцев комкает в руке листок, не зная, куда его положить.

— Что ты прячешь? Письмо? — спросила Светлана.

— Да нет, пустяки... — пробормотал Зайцев и сильно покраснел.

— Покажи, — сказала Светлана и стала шутливо ловить его руку под столом.

Наконец она вытащила из сжатых пальцев Зайцева скомканный листок, разгладила его.

— Не надо! Отдайте... — шепотом проговорил Зайцев, но из-за стола не встал.

Светлана прочитала вслух:

Скучно жить в этих местах.
Только ветер гудит,
Все кругом скроют снега,
Очень унылый вид.
Только б выучиться мне,
И уеду туда,
Где веселее людям жить,
Где шумят города.
Когда ехал я сюда,
Думал, здесь хорошо,
Только неправда это все,
Я...

Видимо, на этом стихи обрывались.

— Да ты, оказывается, поэт, — сказала Светлана спохватительным тоном. — Но с размером и рифмой у тебя пока слабовато. Давно стихи-то пишешь?

— Ничего я не пишу! — не глядя на нее, ответил Зайцев. — Так, балуюсь. И никакие это не стихи!

— Ну и очень хорошо, если сам понимаешь. Впрочем, если очень тянет писать, никто запретить не может. Но для того, чтобы научиться писать настоящие стихи, надо побольше читать.

— Что читать? — живо откликнулся Зайцев.

— Ну... вообще читать. Разные хорошие книги. Художественные.

— Читаю. Прочел одну недавно.

— Какую?

— О красивой любви, — с неожиданной злобой проговорил Зайцев. — Я вот лучше про себя скажу. Восемь часов в горё. Грязный, душа нет. Костюм новый в чемодане лежит, мятый, погладить негде. Да и куда наденешь его, костюм-то, в «шайбу»? Так там на одежду не смотрят. В ватнике на работу, в ватнике дома. Ну, девушек у нас на участке нету. А на руднике их много. И все такие же,

как мы, грязные, мятые... Кончила работу — постирать надо, в магазин бежать... Какая уж тут любовь, да еще красивая!

Светлана промолчала.

— Нет,— мечтательно продолжал Зайцев,— вот поступлю в техникум, кончу, специальность получу, поеду место искать, где люди красиво живут. А так... надоело...

Светлана некоторое время молча сидела возле Зайцева. Казалось, что ей хочется что-то сказать, но она не решается или не находит слов.

10

Мы все еще плохо жили в то время. Барак, жесткие нары, остывшая еда. Умываться ходили на озеро. Никаких развлечений.

Туннель — вот что заполняло все наши помыслы и все наше время.

Раньше я думал, что мы живем нормально, что все это так и должно быть, что наш неустроенный, трудный быт естествен для жизни на далеком Севере. Но после разговора Зайцева со Светланой наша жизнь вдруг предстала передо мной совсем в другом свете.

«Ведь Зайцев прав, прав! — говорил я себе.— Ведь человек хочет не только трудиться, он хочет побыть с собой наедине, читать книги, встречаться с друзьями, смотреть кино, пойти в театр... Так почему же я равнодушен к тяжелым условиям нашей однообразной жизни?»

Потом мысли мои обратились к Светлане. Если эти условия не под силу даже Зайцеву, то как с ними справится Светлана? Я вдруг понял, почему она в последнее время как-то опустила, перестала следить за собой, поили, откуда появилась в ней неуверенность, временами раздражение...

Ей просто трудно жить такой жизнью! Трудно потому, что она привыкла к городу, к первому городу нашей страны, трудно жить одной, без подруг, трудно потому, что она женщина.

До конца нашей стройки по плану оставался почти год. И я решил твердо, непоколебимо решил, что этот год мы будем жить по-человечески. Надо построить дома. Планом они не предусмотрены. Я поехал к Николаю Ни-

98

колаевичу посоветоваться и совместно с ним поставить вопрос о строительстве.

Он отказался, ссылаясь на то, что если бы здесь создавался постоянно действующий производственный объект, то государство позаботилось бы построить не два-три дома, а целый городок. А у нас работы всего на год. Главное — пробурить туннель. Строительство домов только отвлечет силы, внимание...

Вот что сказал мне Крамов. Я ответил, что он неправ и что я один буду ставить вопрос о строительстве.

Поехал в комбинат к Фалалееву. Он ответил:

— Не мудри, Арефьев, лучше следи за проходкой — опять отстаешь.

Я сказал:

— Если рабочие будут жить в лучших условиях, то повысится темп проходки.

— Не мудри, Арефьев,— повторил Фалалеев.— Смоди на Крамова, учишь! Проходку дает, темпы дает и ничего не просит.

И, подумав немного, добавил:

— Если себе хочешь хибарку сбить, могу подкинуть немного лесу.

Я ушел, хлопнув дверью.

Директор комбината выслушал меня более внимательно. Сказал:

— Слушай, Арефьев, ты имеешь понятие, что такое смета, план? Откуда я возьму тебе деньги, рабочих, материалы?

Я ответил, что рабочих много не понадобится, обойдемся своими силами. Вряд ли кто-нибудь из нас откажется поработать после смены на строительстве дома, в котором ему же предстоит жить!

Директора раздражала моя, как он выразился, хозяйственная неграмотность. Неужели я не понимаю, что такие вещи не решаются после того, как план и смета уже утверждены и строительство начато? И неужели я думаю, что нам позволяют внепланово тащить средства из государственной кассы?

Он чуть приподнялся над своим столом, уставленным телефонами, раскинул руки и оперся ими о край стола. В этой своей позе директор стал похож на кассира, охраняющего государственную кассу от моих пощипываний. И это окончательно разозлило меня.

99

— План, смета! — воскликнул я. — К чему вы мне все это говорите? Как будто я не знаю... Но поймите вы — люди не могут жить так... Не могут!

Дело казалось мне столь ясным, правота моя настолько неопровержимой, что любые возражения я принимал как чистейший бюрократизм.

— Ведь до сих пор жили? — возразил директор на мое последнее восклицание.

Ну, тут я окончательно взвился.

— До сих пор! — крикнул я. — Да разве партия хочет, чтобы мы всегда и во всем жили так, как до сих пор?!

— Ну, ты партию оставь, — холодно сказал директор. — Она — слово великое...

— Великое?! Разве это холодное, отвлеченное величие? Разве не в том настоящее величие партии, что она помогает нам и в больших делах и в малых? И как это мне «оставить» партию?..

Мы поругались, и я вернулся на участок ни с чем.

В тот вечер барак показался мне особенно грязным, сумрачным, неуютным, нары особенно жесткими, горы особенно мрачными.

Я рассказал Павлу Харитоновичу Трифонову о своем разговоре в комбинате.

— Поезжай в обком партии, — посоветовал Трифонов.

Но я решил поговорить со Светланой. Было уже поздно, когда я пришел к ней в каморку. Светлана, заложив руки под голову, лежала на нарах на плюшевом своем одеяле в комбинезоне и сапогах.

Увидев меня, она поспешно села, поспешно стряхнула с одеяла пыль и каменные крупинки.

— Мы очень плохо живем, Светлана, — начал я. — Посмотри, как проводят дни наши рабочие. Нары, забой, снова нары. Под выходной — «шайба». Едят остывшую пищу, которую привозят из комбинатской столовой. Ведь так?

— Но у Крамова люди живут хуже нашего, там даже постельное белье не у всех найдешь, а темпы проходки выше, — возразила Светлана.

— Меня сейчас не интересует Крамов! Я говорю об участке, за работу которого отвечаю. Мы должны изменить все это, Света. Грош нам цена, если мы не сумеем наладить сносную, хотя бы только сносную, жизнь для двух десятков человек! Я предлагаю вот что...

И я рассказал Светлане о своем плане постройки дома, о посещении комбината и о том, что Трифонов советует ехать в обком.

— Не надо, Андрей, не езд, — сказала Светлана, тронув мою руку.

— Но почему? Разве я не прав?

— Все кругом правы! — устало откликнулась Светлана. — Мы живем плохо, я согласна с тобой. Но и опи там, на комбинате, правы. У них план, смета, войди в их положение...

— Плевать мне на их положение! — не сдержавшись, крикнул я. — И не может быть такого положения, при котором все одинаково правы. Правда одна!

— Послушай, Андрюша, — мягко сказала Светлана, и я почувствовал пожатие ее пальцев, — будем говорить откровенно. Кто ты? Инженер без году неделя, кандидат партии, вчерашний комсомолец, еле-еле выполняешь план. С каким капиталом, с каким весом ты придешь в обком? Ты окончательно восстановишь против себя Фалалеева, поссоришься с директором... Кто будет стоять за твоей спиной, когда ты придешь в обком?

— Правда! — крикнул я.

— Слова! — горько усмехнулась Светлана. — Вот ты говоришь, что не бывает двух правд в жизни. Тогда послушай. Мы приехали сюда, на Север. Попросились на сложный, трудный участок. Приехали, работаем, строим туннель, чего-то добились... Вот тебе одна правда — показная, привычная, та, о которой так любят писать газеты. Все ясно, правильно, внешне мы идеальные: молодые специалисты, герои эпохи... Но ведь внутри нас не все так ясно и просто. Ведь ты знаешь, знаешь в глубине души, что я в чем-то изменилась, что я хочу чего-то иного, сама не знаю чего... И это тоже правда. Я почему-то иногда боюсь тебя, Андрей, и это тоже правда... Я иногда с нетерпением жду приезда Крамова, а раньше я его терпеть не могла. Я и сама не знаю, зачем, почему я его жду... Нет, не думай, я не люблю его, ничего похожего на это, но я жду его. И я знаю, что если то, первое, правда и если я прежняя Светлана, то я не должна ждать Крамова, но я все-таки жду, и это тоже правда...

Мог ли я сразу ответить Светлане? Нет, я долго и напряженно думал, не мог разобраться, понять, что к чему; в словах Светланы был пугающий меня смысл. Ее послед-

ные слова были о Крамове, и я отвечал на них, но в мыслях моих звучали те, первые слова о «капитале» и «весе», с которыми я поеду в обком.

— Ну и жди! Жди! — жестко и зло повторил я. — Он тебе все расскажет, все объяснит. У него, видно, тоже две правды, тебе под стать. На любой вкус. Он с «капиталом» и «весом». А в обком ехать не хочет! Его тебе не пришлось бы уговаривать не ехать. Да если бы ты его сутки уговаривала поехать, он все равно не послушался бы тебя, можешь быть спокойна. Жди его, жди! С какой правдой он к тебе придет? У него их несколько, как и у тебя. А я поеду! Слышишь, поеду в обком! С одной правдой поеду, мне ее хватит!

Я ушел.

На другой день я выехал в область. Добрался вечером, с трудом получил койку в знакомой гостинице и утром пошел в обком.

Направили меня к инструктору промышленного отдела. Это был молодой светловолосый человек с очень спокойными, точно остановившимися глазами. Казалось, что они у него стеклянные, вставные.

Вы знаете, есть такие уравновешенные, неопределенные, мягкие люди. В душе я называю их возвращенными на растительной пище. Вот таким показался мне и этот инструктор.

Я долго рассказывал ему об условиях, в которых мы работаем. Он слушал внимательно и молчал. Лицо его не выражало ничего, кроме отрешенного спокойствия. Очень неприятно беседовать с таким человеком. В институте у нас были разные профессора. Одному сдаешь зачет и чувствуешь, что перед тобой живой человек. Внешне он ничем не помогает тебе, но ты видишь, чувствуешь, что он заинтересован в тебе, что-то неуловимо меняется в его глазах, в лице, когда ты говоришь правильно. А есть такие, которые с одинаково вежливым бесстрастием смотрят на тебя и когда ты отвечаешь правильно и когда «тонешь»...

Этот инструктор был из таких вежливо-бесстрастных.

Рассказывая, я задавал ему вопрос: «Ведь нельзя допустить, чтобы советские люди так жили даже за Полярным кругом?» Но инструктор молчал по-прежнему.

Наконец я понял, что главное для этого инструктора — сохранить бесстрастное спокойствие. Он не только не собирался высказать свое мнение, но и все делал для того,

чтобы жестом, движением головы или выражением лица дать понять — ничего он не поддерживает и ни на что не возражает.

Во мне закипела злость. Я начал своего рода игру. Да, именно игру! Каким угодно способом, но я должен заставить, вынудить инструктора высказать его мнение!

Но он оказался опытным противником в этой игре. Только единственный раз мне удалось выиграть. Когда я говорил о том, что рабочим негде собраться почитать книгу или газету и из-за этого невозможно наладить политехнику, инструктор чуть нахмурил брови.

— Учебу надо организовать, — проговорил он.

Большого мне не удалось добиться.

...Интересная деталь! Месяц спустя я встретил этого инструктора в нашем поселке. Теперь он инструктор райкома партии. Этому парню явно не везло. Мы разговорились, и он рассказал мне, что долгие годы проработал в аппарате ЦК тоже инструктором, примерно за полгода до нашей первой встречи был переведен в обком, а теперь вот оказался в райкоме.

На этот раз он показался мне совсем иным человеком, точно кто-то взял его за плечи и потряс с такой силой, что кора бесстрастного равнодушия сразу слетела с него и под ней обнаружился нормальный, живой человек.

Напомнив ему нашу первую встречу, я спросил:

— Почему ты так вел себя?

— А так нас раньше учили, — ответил инструктор, — наше дело — выслушать и доложить начальству, а потом передать мнение начальства. Вот и все. Свое мнение иметь не полагалось. — Он усмехнулся. — Трудно было, пока не привык...

...Да, так вот, разговор мой в обкоме с этим человеком не дал никаких результатов.

Инструктор даже не захотел доложить начальству о моем деле, сказав, что обком хозяйственными вопросами не занимается, и посоветовал обратиться в облисполком.

Но я всей душой, всем сердцем чувствовал, что это дело партийное, что многое в нем выходило за пределы хозяйственных рамок.

Было еще нечто, что заставляло меня добиваться разрешения дела именно в партийном порядке. И, как ни странно, этим «нечто» было поведение инструктора.

Я пошел к секретарю обкома.

Оказалось, понасть к нему очень трудно, если не невозможно.

Дежурный технический секретарь отослал меня к помощнику секретаря обкома, сидящему в маленькой комнатке рядом с приемной. Помощник выслушал и сказал, что это «партизанщина» — ставить вопрос так, как я это делаю.

— Ну, представьте себе, что все пойдут к секретарю обкома по всем вопросам. Что из этого получится? Область большая, строек много, да еще рыбная промышленность...

Все, что он говорил, было ясно, просто и элементарно правильно. И вместе с тем абсолютно не убеждало меня. Не мог же я объяснить ему, что вопрос о строительстве домов связан для меня со многим, с очень, очень многим...

Под конец разговора помощник сказал, переходя на «ты»:

— Ну, хочешь, я звякну в исполком, чтобы там разобрались в твоём предложении? — И он потянулся к телефону.

— Не надо! — решительно сказал я и вышел из комнаты.

Когда я проходил через приемную, высокая, обитая клеенкой дверь открылась и из комнаты вышел человек. Дежурного секретаря в приемной не было. Тут точно кто-то подтолкнул меня. Я с ходу изменил направление и быстро вошел в еще не успевающую закрыться дверь.

Мне никогда не приходилось бывать в кабинетах крупных руководителей, и поначалу я смутился.

Потом любопытство взяло верх. Я огляделся. Почувствовал, что стою на толстом, мягком ковре, увидел карту, занимающую чуть ли не полстены, массивный письменный стол, поблескивающий черным лаком телефонный коммутатор, похожий на клавиатуру большой пишущей машинки, и длинный стол для заседаний.

Стол этот стоял не вплотную к письменному, составляя букву «Т», как это обычно бывает в кабинетах разных начальников, а в стороне. Он был покрыт зеленым сукном, но не сплошь. Дальний от меня торцовый полированный край как бы образовывал второй, маленький стол. За ним сидел человек, погруженный в чтение бумаг.

Я заметил его не сразу. В первую минуту никого не увидев за большим письменным столом, я решил, что

кабинет пуст и что человек, только что вышедший из этой комнаты, и был секретарь обкома.

Сейчас я понял, что ошибся.

— Товарищ секретарь обкома! — негромко проговорил я.

Человек поднял голову. У него было морщинистое лицо и тяжелые, густые брови. Взглянув на меня, он чуть поднял их.

Я подошел к столу и торопливо стал рассказывать о цели своего прихода, то и дело извиняясь, что ворвался без доклада.

Секретарь молча выслушал меня.

— Садитесь.

Это единственное слово ободрило меня.

Поспешно сев на один из стульев, стоящих длинным рядом вдоль стола, я с новым жаром стал излагать свое дело.

Внезапно секретарь прервал меня вопросом:

— Вы член партии, товарищ...

— Арефьев,— подсказал я и тут же ответил: — Кандидат, с прошлого года.

— Так вот, товарищ Арефьев,— строго сказал секретарь,— и помощник и инструктор были правы, советуя вам обратиться в областной исполнительный комитет. И вы напрасно жалуетесь на них.

Он помолчал. Настроение мое мигом упало. Точно я мчался куда-то, а меня разом остановили. И тон секретаря и то, что он сказал не «исполком» и не «облсполком», как говорят обычно, а полностью — «областной исполнительный комитет», — подчеркивали сухость и строгость его слов.

— Поймите,— спокойно продолжал секретарь,— ваш вопрос — обычный хозяйственный вопрос, хотя, может быть, и важный. Таких вопросов в нашей практике возникает великое множество. Что же получится, если решение их будет зависеть не от изучения конкретной основы этих вопросов — и при этом людьми, которым партия и государство поручили их решать,— а от того, поговорит товарищ Арефьев с секретарем обкома или не поговорит?

Было что-то подавляющее в словах секретаря.

Теперь я не ощущал в его голосе строгости — в нем была какая-то отрешенность. Мне показалось, что в эту минуту секретарь мыслями где-то очень далеко от меня,

что он только подчиняется какой-то неотвратимой и тяжелой необходимости говорить мне все эти элементарные вещи и выполняет свой тяжелый, но привычный долг.

Я подумал: инструктор, помощник секретаря обкома и, наконец, сам секретарь фактически сказали мне одно и то же, только по-разному. И это привело меня в отчаяние.

— Значит, домов не будет,— тихо сказал я.— Ведь я уже пробовал обращаться по инстанции, ставил вопрос в комбинате...

— Киснуть не надо,— медленно проговорил секретарь.— Коммунист должен бороться, если считает, что его дело правое.

В паузах он бегло просматривал лежащие перед ним бумаги.

Меся охватила злоба. Вся обстановка этого кабинета — ковер, карта, портьера, телефоны — теперь уже не подавляла меня. Наоборот, она усиливала мое возмущение. Мне хотелось крикнуть секретарю: «Посидите-ка у нас в барак!»

Но я сдержался. Я сказал, стиснув зубы:

— Вы говорите, бороться? За что? За то, чтобы люди жили по-человечески? Разве это нельзя решить без борьбы? Я хочу сказать — разве на это необходимо потратить столько сил, доказывать, убеждать? А если я не сумею убедить, перестану доказывать? Тогда что?

Я говорил все громче. Вся моя выдержка постепенно исчезла. Секретарь уже не проглядывал бумаги. Он смотрел на меня, сдвинув свои тяжелые брови.

— Если человеку на улице станет плохо, если с ним что-то случится,— продолжал я,— разве не долг каждого помочь ему? Разве необходимость помощи не очевидна? Разве за нее надо бороться?! Вы думаете, я не понимаю — смета, плановость, организованность... Но люди живут в недопустимых условиях, понимаете, в недопустимых! Чего же стоят эта смета и этот план?! Я был убежден, что об этом должны узнать честные партийные люди, и этого довольно, чтобы все исправить. А теперь что же? Я вернусь к себе — и все останется по-старому? А вы, зная обо всем этом, оставите все без перемен? Вы будете...

У меня не хватало дыхания. Я вскочил и выбежал из кабинета. Кажется, я хлопнул дверью. В моем возбуждении я готов был бежать на вокзал, вскочить в первый

поезд и ехать в Москву, в ЦК. Потом я поостыл, решил написать в ЦК подробное письмо.

...В поезде, возвращаясь в наш поселок, я мысленно составлял это письмо. Я представлял себе, как его читает один из секретарей ЦК, как он, возмущенный, ударяет кулаком по столу и приказывает немедленно вызвать к телефону секретаря обкома, как зажигается лампочка на лакированном коммутаторе секретаря... О, я ни минуты не сомневался, что так оно и будет! Всего месяц тому назад я читал постановление ЦК по сельскому хозяйству. До этого мы все прочли другие решения, которые у каждого честного человека в нашей стране вызвали радость и гордость за нашу партию. Мы видели, знали, что партия не остановится ни перед чем, чтобы восстановить правду там, где она была поправа, что она поднимает всю нашу страну на новый этап ее жизни.

Но потом я подумал: пока мое письмо попадет в Москву, пока будет разобрано и проверено, пройдет время... Я не сомневался в том, что в эти дни в ЦК стекаются тысячи писем со всей нашей страны, потому что и коммунисты и беспартийные почувствовали, что ЦК хочет знать их мнение, хочет разбудить их инициативу. Не затеряется ли, не потонет ли в этом потоке мое письмо с дальнего Севера, с маленькой, местного значения стройки?..

А пока что все останется по-старому...

И перед глазами моими встал Крамов, которому, видно, и не надо никаких перемен, который чувствовал себя и раньше как рыба в воде. Встали перед моими глазами мятущаяся Светлана, тупой Фалалеев...

Я представил себе, как они меня встретят, узнав, что я съездил безрезультатно, что меня не поддержали. Настроение мое упало...

Рассказывать о дальнейшем мне стыдно, но я должен это сделать.

Я вернулся в поселок. Была суббота. Проходя мимо «шайбы» и услышав смутный человеческий гул, я вдруг почувствовал неодолимое желание забыть, хотя бы ненадолго забыть все, что произошло.

Словом, я зашел в «шайбу»...

Зашел с твердым решением выпить только бутылку пива. Но, увидев, что рабочих с моего участка здесь нет, не удержался, поддался уговорам соседей и выпил сто граммов водки, потом еще...

Смутно помню, как появился потом Крамовский шофер, как меня усаживали в кабину трехтонки.

Проснулся ночью в комнате Крамова. Очень хотелось пить. Я уже протрезвел, только сильно болела голова.

Несмотря на позднее время, Николай Николаевич сидел за столом и читал при свете прикрытой картонным колпаком лампы.

— Дайте воды, — попросил я.

Крамов повернулся ко мне, захлопнул книгу.

— Чего ты не спишь? — спросил он таким тоном, будто мое пребывание здесь вполне естественно.

Он встал, вышел в тамбур и вскоре вернулся с жестяной кружкой в руках.

Я залпом выпил ледяную воду. Крамов снова уселся за стол. Боль в голове утихла. Я лежал на той самой койке, на которой спал в свою первую ночь на Туннельстрое. Как хорошо мне было тогда! Какой уютной казалась мне эта комната! С какой любовью, с каким чувством дружбы и преданности глядел я тогда на Крамова! Сейчас мне были противны стены, неприятен Крамов, сам себе я казался отвратительным.

— Ты, говорят, в область ездил? — спросил Крамов.

— Ездил, — глухо ответил я.

— Насчет домов?

— Да.

— Ну и как?

— Не будет домов, — ответил я, не глядя на Крамова.

— Я так и думал, — спокойно, без тени злорадства сказал Крамов. — Ты еще не знаешь, что значит в нашей хозяйственной системе смета.

— Теперь знаю.

Крамов встал, прошелся по комнате и сел на кровати, у меня в ногах.

— Послушай, Андрей, — сказал он, — боюсь, что ты все-таки не разбираешься в людях, с которыми работаешь. Ты все думаешь, что здесь Большая земля. А здесь полярка. Понимаешь?

— Люди как люди.

— Нет. Это люди особые. Часть из них — бывшие кулаки, высланные сюда в период коллективизации, их дети. Потом люди, переехавшие сюда еще в те времена, когда тут были сплошные тундры и редкие лопарские поселки. В свое время они неплохо потрудились. Но сейчас у них

нет больше стимула для работы. Они давно уже получают всевозможные надбавки за выслугу лет в Заполярье. И будут их получать вне зависимости от, так сказать, производительности своего труда. Наконец, еще одна категория — люди, которые появились здесь в последние годы. У них один стимул — деньги. Ясно? Теперь я тебя спрашиваю как взрослого человека: учитываешь ли ты все это, когда затеваешь возню с домами и прочей культурой? Не лучше ли вести себя с ними просто, трезво, без иллюзий, зная их цели и преследуя свою цель?

— Как же? Научите, — тихо сказал я.

— Пожалуйста. Первая категория — народ травмированный, требующий особого подхода и бдительности. Людей второй категории — заживевших бездельников — надо заставлять работать, понимаешь, за-ста-влять! Людям третьей надо давать возможность заработать. Без этого ничего не выйдет. Вот тебе все методы.

— Скажите, — так же тихо, хотя злость кипела во мне, спросил я, — а людей, просто людей здесь нет? Просто честных советских людей?

— Послушай, Андрей, — нетерпеливо оборвал меня Крамов, — избавь меня от пустых, демагогических вопросов! Я рассказываю тебе о специфике здешних контингентов. О спе-ци-фи-ке, понимаешь?

— Понимаю, — сказал я. — Но, простите меня, Николай Николаевич, в ваших словах я вижу другую специфику — специфику холодного, злого, предвзятого отношения к людям.

— Опять ты...

— Подождите, — сказал я, приподымаясь. — Вот вы говорите — бывшие кулаки. Допустим. Но с тех пор прошло четверть века. Ведь за эти годы многие из них честным, тяжелым трудом создали себе новую биографию, давно восстановлены во всех правах. Некоторые из них орденами награждены. А вы хотите кнут наготове держать...

— Я говорю не о кнуте, а о бдительности, — прервал меня Крамов.

— Перестаньте! — воскликнул я. — Вы... вы опешляете большое революционное слово «бдительность»! Будьте бдительным, но опустите свой кнут! Разве вы не чувствуете, что народу опротивели люди с кнутом? Разве вы не читали решений правительства об амнистии? Даже

бывшие преступники прощены, те, которые искупили свою вину. Теперь о детях. Многим из этих ребят только по двадцать лет! Они родились, когда их отцы уже не были кулаками. А вы хотите и над ними держать свой кнут, шантажировать их грехами отцов! Да кто вам разрешит это в наше время?!

Я был очень взволнован. Вскочил с постели. Крамов встал тоже. Потом он снова опустился на кровать.

— Ну, прекратим этот бессмысленный спор,— миролюбиво и даже виновато сказал он.— Пожалуй, ты прав. Человеческая жизнь — самый большой капитал на земле. В особенности жизнь советского человека.

Я удивленно посмотрел на него. Мне даже показалось, что эти слова произнес не Крамов — настолько проникновенно и, я бы сказал, задушевно прозвучали они. Трудно было представить себе, что все сказанное ранее и эти последние фразы произнесены одним и тем же человеком и с одинаковой убежденностью в голосе.

Крамов глядел прямо мне в лицо своими спокойными, редко мигающими васильковыми глазами.

— Жизнь многообразна, Андрей,— задумчиво и немного печально продолжал он.— Возьмем, к примеру, военный устав. Все в нем правильно и разумно. Но на войне приходится прибегать к далеко не уставным средствам. А ведь мы не в тылу страны, Андрей...

Он что-то говорил еще, но я почти не слушал его. Странное дело! Совсем недавно толос Николая Николаевича, его манера говорить, его аргументация — все это целиком подчиняло меня. А теперь его слова шли как-то мимо...

«Зачем он все это говорит? К чему?» — подумал я.

Сел у стола и стал перелистывать книгу, которую только что читал Крамов. Это была «Жизнь пчел» Метерлиника.

— А наша жизнь — это борьба,— продолжал Крамов развивать мысль, начало которой я прослушал,— и путь к достижению наших больших и очень гуманных целей не всегда может быть гуманным...

Он умолк и, опустив голову, задумался. Я молчал. И вдруг заметил, как Николай Николаевич одним углом глаза, не поднимая головы, следит за мной.

И в то же мгновение со всей очевидностью, с предельной бесспорностью мне как бы открылся внутренний процесс его мышления. Неторопливые, проникновенные его

слова служат только средством скрыть от меня истинные его мысли.

— Не выходит у нас беседы! — резко сказал я, вставая. Крамов тоже поспешно встал. Я пошел к двери.

— Ты куда? — растерянно и даже испуганно спросил Крамов.

— Пойду. Трещит голова, все равно не засну.

— Ты с ума сошел! — заслоня дверь, воскликнул Крамов.— Восемь километров пешком отмахать? погоди, утром отвезу.

— Не надо.

— Ладно,— угрюмо и даже грубовато буркнул Крамов. Удивительно быстро менялся его тон.— Хочешь идти — иди. Насчет выпивки не болтай. Хашкей и лицемеров достаточно и за Полярным кругом.

Он отошел от двери, пропуская меня.

В те дни в Заполярье наступила осень. Прозрачным стал воздух, и вершины далеких, не видимых ранее гор показались над горизонтом.

Пожелтела трава, скрывавшая не заметные летом болота, вода в озерах стала голубой. Кустарник и лишайники пестрым ковром одели лощины.

Полярный день кончился, и смена дня и ночи стала обычной. Часто шли дожди, но они не угнетали так, как в городах или в степи, потому что каждый новый дождь точно открывал новые краски в заполярной природе.

Я шел в предрассветной дымке по бесконечной кольцевой, огибающей гору дороге, шел к себе на участок.

Шел и думал:

«Неужели в нашей жизни и в самом деле существуют две правды? Одна — великая правда больших обобщений, больших, так сказать, чисел и исторических свершений, а другая — маленькая правда житейской практики, часто противоречащая первой... В свете большой правды мы строим туннель, чтобы люди не подвергались опасности обвалов, чтобы ценные грузы без задержки доходили до назначения, то есть в конечном итоге для блага, для счастья людей...

Но разве эта цель вдохновляет Крамова? И ей ли служит Светлаша? Я предложил элементарную вещь, облегчающую жизнь нашим строителям. Разве мою мысль подхватили и помогли реализовать те, чьим первым делом является забота о людях? Разве не встретил я равнодушия и даже сопротивления?.. Как же так? Как совместить эти две правды? Все было ясно для меня, когда я учился в институте, когда все шло «по расписанию» и когда я знал о жизни за стенами института только по газетам.

Но, может быть, газеты были неправы? Ведь в некоторых часто представлялось дело так: партия дает лозунг, всех людей охватывает энтузиазм, и все они единодушны в реализации этого лозунга... Встречаются, правда, и плохие люди, говорили нам, но их так мало и поведение их настолько не определяет всего происходящего, что их можно просто не принимать во внимание.

А здесь, в реальной жизни, все обстоит иначе...»

Я шел, все более распаяя себя, все более негодуя на людей, которые опрокидывали мое представление о жизни.

В воскресные дни, особенно по утрам, на нашем участке тихо. Первым человеком, которого я встретил, добравшись до участка, был Павел Харитонович Трифонов.

Он сидел у горы, на валуне, перед зеркальцем, приспособленным на выступе породы, и брился.

Я подошел и, не поздоровавшись, раздраженно сказал:

— Не будет у нас домов.

Трифонов продолжал бриться, натягивая языком щеку. Потом он осторожно провел по бритве щепоткой мха, снимая мыльную пену, и спокойно спросил:

— Почему?

И тут меня, как говорится, прорвало. Я выложил ему все, что думал об инструкторе обкома и о секретаре, о бюрократизме, который опутал всю нашу жизнь, и обо всем, о чем думал, идя от Крамова.

Не знаю, слушал меня Трифонов или нет. Он продолжал спокойно бриться, не отрываясь от зеркальца.

Окончив бритье, Трифонов тщательно протер мхом бритву, уложил ее в кожаный футляр, сполоснул кисточку водой из стоявшей тут же, на камне, жестяной кружки, встал, улыбнулся и сказал:

— Ну их к черту, бюрократов, товарищ Арефьев! Пойдем лучше погуляем. Смотри, день-то какой!.. Ты, кстати, где ночевал-то? В поселке?

Меньше всего я был настроен гулять. Я не выложил еще и половины всего, что кипело во мне. Но последний вопрос Трифонова смутил меня. Он сразу вернул меня к вчерашнему происшествию в «шайбе». Я настороженно посмотрел на Трифонова: уж не стало ли известно на участке о том, что со мной произошло? Может, кто-нибудь из наших рабочих все-таки был вчера в «шайбе»?

Но по лицу Павла Харитоновича ничего нельзя было определить. Он медленно поглаживал себя по щекам, проверяя, чисто ли побрился.

— В поселке ночевал, — буркнул я, — в комедантском общежитии.

— Так что же, погуляем? — снова спросил Трифонов. — Вот только имущество свое отнесу.

Взяв кружку, кисточку и зеркальце, он пошел в барак и через минуту появился снова.

Уверенно-спокойному тону и движениям Трифонова трудно было противостоять. Я пошел с ним.

Лес находился километрах в двух. Издали он был особенно красив. В центре его светились позолоченные осеью деревья. Они, точно языки пламени, вырывались из зеленого, еще не успевшего целиком пожелтеть лесного массива. А поляны были красные, точно огромные костры.

— О тебе тут беспокоились, — сказал, не глядя на меня, Трифонов. — Говорят, обещал в субботу вечером вернуться...

— Кто беспокоился? Одинцова? — вырвалось у меня.

— Почему только Одинцова? Люди спрашивали, Агафонов интересовался, Зайцев — парень этот, с западного. Да и другие спрашивали.

Я был уверен, что рабочим нашего участка нет, в сущности, никакого дела до меня, и словам Трифонова обрадовался.

Как было бы хорошо собрать сегодня людей и сказать, что я добился разрешения построить дома, что через два-три месяца мы сможем начать жить по-человечески!.. А вместо этого я должен сообщить, что все останется по-старому. При этом я не мог сказать, что в обкоме сидят бюрократы, а должен придумать какие-то объективные,

правдиво звучащие объяснения тому, что домов не будет, то есть в конечном итоге повторить доводы секретаря обкома, которые считал такими несправедливыми...

И раздражение, досада — все те чувства, которые только что улеглись во мне, снова меня захватили. И я обрушил на Трифонова весь поток моих горьких размышлений.

Я говорил:

— Вот вы, Павел Харитонович, старый коммунист, рабочий, представитель руководящего класса. Как же вы и ваши товарищи допустили, чтобы бюрократизм и равнодушные пустили такие глубокие корни в нашей стране? Почему не остановили поток трескучих фраз, которыми разные аллилуйщики оглушали людей? Вот я читаю решения ЦК о сельском хозяйстве и вижу, как обмалывали нас раньше газеты, романы, стихи, как оглушали нас процентами, гектарами, пудами, когда на деле обстояло иначе, хуже, во много раз хуже... Нам говорили, что забота о человеческом счастье — это закон социализма, а разве Крамов, тот же секретарь обкома, инструктор, наш Фалалеев, наконец, разве они заботятся о людях? Разве это цель их жизни? Но ведь они у власти, они руководят нами... Как же вы допустили все это?

Я уже не помню, что говорил еще. Я спешил, торопился высказать все, что накипело во мне. И наконец замолчал. Молчал и Трифонов. Мы оглядели озеро, красное от лучей восходящего солнца: белые облака, похожие на островки, неподвижно отражались в нем.

— Ты спрашиваешь, Арефьев, что мы делали все эти годы? — медленно переспросил Трифонов. — Что ж, я отвечаю тебе. Мы работали. Тебя еще не было на свете, а мы с твоим отцом работали, чтобы ты мог расти и учиться.

— Знаю, знаю, — отмахнулся я, — все работали, это мне известно. А к чему привела ваша работа?

Трифонов вдруг резко остановился и в упор посмотрел на меня. Его стариковски спокойные, окруженные сеткой морщинок глаза внезапно стали злыми, колючими. Мои последние слова, видно, причинили ему сильную боль.

— Щенок! — грубо оборвал меня Трифонов. — Ты что, отчета у меня пришел требовать? Мы царя убрали, старую жизнь сломали, заводы, колхозы построили, на войну кровью исходили, чтобы все это для тебя, сосунка,

сохранить. А ты живых бюрократов увидел — и они перед тобой все заслопили?

— Я не хотел вас обидеть, Павел Харитонович, — сказал я, — но разве партия не критикует сейчас многое из того, что было раньше?

— Критикует! — воскликнул Трифонов. — И правильно делает! Много паразитов, иждивенцев к нам присосалось, много неправды накопилось в нашей жизни. Но то великое, что наш народ создал, партия хранит как зеницу ока! И ты не смей на это замахиваться, слышишь? Сейчас много гавриков начнут с партийной критики купоны стричь! Будут кричать: «А мы вместе с партией критикуем!» Вместе? Нет, критикуют-то врозь! Две правды, говоришь? Врешь ты, никаких двух правд у нас нету! Одна есть правда, за которую мы лучшие годы свои отдавали, жизни не щадили, была она и есть, эта правда! А другие твои правды маленькие, гаденькие, никакие они не правды, заваль одна!..

Я стоял подавленный, опустил глаза. Нет, не столько слова Павла Харитоновича ошеломили меня, сколько то, как этот немолодой, обычно невозмутимый, размеренно-аккуратный во всем человек воспринял мою речь. Внезапная вспышка его страстности, гнева, убежденности поразила меня.

Еще минуту назад мне казалось, что я все знаю, всех понимаю, все выстрадал собственным опытом, вижу то, чего не видят другие. А сейчас, стоя перед этим человеком, я вдруг увидел себя со стороны маленьким и крикливым петушком.

Павел Харитонович пошел вперед, я за ним. Мы шли по нагромождению камней серых, с зелеными пятнами мха, похожих на огромных оцепеневших жаб.

Карликовая береза стелилась над камнями, а из расщелин пробивался ягель — серый мох, любимая оленья пища.

Красные листочки брусники чуть вздрагивали от наших шагов. Из ущелья медленно выплывало облако. Косой луч, точно прожектором, освещал макушку горы.

Павел Харитонович сел на большой валун, покрытый мхом, точно толстой плюшевой скатертью, вытащил из кармана пачку «Беломора» и закурил.

— Дайте мне тоже, — попросил я.

Трифонов молча протянул мне пачку.

— Ведь не куришь? — с усмешкой спросил он, передавая мне спички.

Я махнул рукой. Мы молча сидели и курили. Я так сильно тянул дым, что пашироса быстро кончилась. Я бросил окурок и подумал: чем бы еще запяться, чтобы не сидеть вот так, молча? Трифонов внезапно задал вопрос, заставший меня врасплох:

— Когда же ты женишься, Андрей?

Я почувствовал, что краснею. Павел Харитонович задал мне этот вопрос как-то очень просто, очень по-житейски. Помню, именно так, тоном старшего, по равному человека, спрашивал меня покойный отец, когда хотел узнать о том, что меня тайно волновало.

И все же я смутился. Хотел отговориться, сказать, что не нашлась еще подходящая невеста, но, взглянув на Трифонова, по выражению лица его понял, что он все знает.

Мы были разными людьми, разными по возрасту, по воспитанию, по опыту жизни. Но в эту минуту я был уверен, что нет у меня на свете человека ближе, чем этот старик.

Я промолчал, а Трифонов не настаивал на ответе.

— Как же будет с домами, Андрей? — спросил он.

Я растерянно посмотрел на него.

— Ну, чего смотришь? Чем я, старик, могу тебе помочь в таком молодом деле, как любовь? Да и не послушаешь ты меня, все равно сам решать будешь. А вот насчет домов интересуюсь, да и людям это не безразлично... Значит, в комбинате и в обкоме отказ?

— Пока отказ, — сумрачно ответил я. — Только отступать не собираюсь. Сегодня же напишу в министерство и в ЦК.

— Думаешь, пробьешь?

— Пробью. Лоб себе расшибу, а пробью.

— Лоб расшибать не надо, это штука ценная, — усмехнулся Трифонов. Встал и сказал: — Пошли до хаты?

Я ответил:

— Я останусь здесь, Павел Харитонович, отдохну немного наедине.

— Что ж, отдохни, — коротко согласился Трифонов.

Я остался в одиночестве. Не хотелось сидеть на камнях. Я нашел полянку среди валунов и улегся на траве. Лежал на спине, глядя на медленно поднимающееся солн-

це. Потом закрыл глаза, наблюдая за маленькой черной точкой, плывущей в красноватом тумане, как часто любил проделывать это в детстве. То ли оттого, что меня разморило на солнце, то ли сказались вчерашняя выпивка и ночь, проведенная почти без сна, но я заснул.

Разбудили меня голоса Светланы и Крамова. В первые секунды мне показалось, что я еще сплю.

— Все мы меняемся, — говорил Крамов. — Как написано в одной умной книге: «Никто не в состоянии остановить время или заставить его проходить бесследно». Все мы меняемся — и вы, и я, и Андрей.

— Вам кажется, что Андрей изменился? — быстро спросила Светлана.

— Да нет, это я так, к слову, — ответил Крамов.

Нет, я не спал.

Моим первым побуждением было вскочить. Но что-то удержало меня. Видимо, простое желание услышать, о чем они будут говорить. К тому же я не мог определить, долго ли спал и давно ли здесь Светлана и Крамов; увидев меня, они решили бы, что я подслушивал их разговор.

Впрочем, эта последняя мысль пришла ко мне позже. Я затанцлся потому, что мне хотелось услышать их разговор. Именно поэтому.

— Да, пожалуй, вы правы, — сказала Светлана. — Андрей изменился...

— Вы находите? — равнодушно откликнулся Крамов. — В чем же?

— Это трудно объяснить так, словами. В нем появилась... решительность какая-то.

— Ну, этого он никогда не был лишен, — усмехнулся Крамов.

— Нет, я о другом говорю. Как бы вам это объяснить?... Раньше он был решителен вообще и мягок, податлив, восторжен в частностях. А теперь в нем появилась какая-то угловатость, резкость. И непреклонность. Ну... не знаю, не могу я вам это объяснить.

— У вас с ним размолвка? — подчеркнуто дружеским тоном спросил Крамов.

— Нет, нет! — ответила Светлана. — Все хорошо.

Я боялся, что они услышат стук моего сердца — так сильно оно колотилось.

— Послушайте, Светлана Алексеевна,— продолжал Крамов,— мы с вами взрослые люди, не мое дело вмешиваться и допрашивать вас. Но меня как друга Андрея интересует: вы собираетесь за него замуж.

— Замуж? — переспросила Светлана, точно не понимая смысла вопроса.

— Да. Именно об этом я и спрашиваю. Андрей любит вас, он мне сам признавался в этом. Вы... Словом, вам понятен мой вопрос?

— Да, я тоже люблю Андрея,— громко и даже с каким-то вызовом сказала Светлана.

— В чем же затруднение?

— Ах, неужели вы не понимаете, что не все так просто в жизни!— Слова Светланы прозвучали очень искренне и как-то тоскливо.— Впрочем,— добавила она уже другим тоном,— в конце концов я выйду за него замуж. Больше вопросов нет?

— Еще один: когда?

— Вам хочется погулять на свадьбе?

— Почему же не погулять... если свадьба состоится?

— Вы сомневаетесь в этом?

— Нет, зачем же,— равнодушно ответил Крамов.— Вы очень подходите друг к другу. Если прежде у меня и были сомнения, то вы рассеяли их. Вы очень, очень подходите друг к другу. Вдвоем вы пробурите десятка два гор и умрете у подножия двадцать первой с сожалением, что осталось еще несколько тысяч гор, которые вам не удалось пробурить уже по не зависящим от вас, так сказать, обстоятельствам.

— Наверное, так и будет. А вам кажется, что это плохо? — снова с вызовом спросила она.

— Не кажется,— ответил Крамов.— Вы и Андрей просто созданы для увлекательной, романтической жизни. Особенно вы, Светлана Алексеевна. Вы помните нашу беседу тогда, на озере? Вы помните, что я говорил вам, когда Андрей собирал свои камушки?

— Мне неприятен этот разговор, Николай Николаевич.

— Какой? Тот? Этот?

Послышался шум осыпающейся гальки,— вероятно, Светлана встала.

— Хорошо,— сказал Крамов,— я не буду больше говорить на эту тему. Пойдемте. Дело не во мне. Нельзя

уйти от самой себя, Светлана Алексеевна, от своих мыслей и раздумий. Можно проделать восемьдесят тысяч верст вокруг самой себя, но результатом такого путешествия будет только усталость и разочарование.

И, резко меняя тему разговора, он каким-то стеклянным голосом сказал:

— Я хотел поговорить с Андреем о нормах. У меня там нормировщик невесть что намудрил. А как у вас?

Светлана ответила, что нормы, первоначально установленные мною, оказались почти такими же, как те, новые, что установил нормировщик.

— Поэтому рабочие и давали у вас такие низкие темпы,— убежденно сказал Крамов и, точно возражая кому-то, добавил: — Что же держит здесь, среди голых гор, людей, если не деньги?

— Однако на вашем участке и после пересмотра норм показатели выше наших.

— Я сумею дать проходку, чего бы это ни стоило! — неожиданно жестко сказал Крамов.— А вы... вы еще комбинаты бытового обслуживания, пожалуй, падуристо строят.

— Андрей считает, что надо улучшить жизнь людей.

— Романтик! — с явной насмешкой произнес Крамов.— Романтизм — неплохая штука, но в показателях строительства туннеля такой графы, к сожалению, нет. Иначе Андрей был бы на коне. Впрочем, Светлана Алексеевна, я ведь тоже романтик.

— Вот как?

— А вы думали? Только моя романтика другая...

— Ну, видно, нам не найти Андрея,— прервала его Светлана.

Они прошли совсем близко от меня, но я, окруженный валунами, не видел их.

Когда их шаги и голоса замерли вдали, я вскочил. Мне хотелось побежать, догнать их, с разбегу схватить Крамова за плечо, с силой повернуть к себе, ударить его...

Зачем он сюда приехал? Ведь мы виделись всего несколько часов назад!

И вдруг я понял. Он трус, испугался, что поговорил лишнего, испугался, что я разгадал фальшь его слов, которыми он пытался прикрыть всю жестокость своих рассуждений о людях. Он испугался моего внезапного

ухода и поспешим вслед за мной, чтобы новыми словами, попой игрой в искренность сбить меня с толку...

Крамов — трус, трус, трус! Когда-то он не опасался меня, считая меня мальчишкой, влюбленным в него, перед которым можно позировать безо всякой опаски. А теперь боится меня, боится своих неосторожно сказанных слов...

Злоба, охватившая меня, не была злобой отчаяния. Я чувствовал свою силу. Поражения, которые я только что потерпел, не угнетали меня, я знал, что буду бороться, драться!

Я шел, не выбирая дороги, спотыкаясь о камни, падал, но не чувствовал боли.

Первыми, кого я увидел на участке, были Светлана и Крамов. Они стояли и глядели на дорогу, ведущую к лесу. Но я появился с другой стороны, и они заметили меня лишь после того, как я подошел к ним вплотную.

Крамов шагнул мне навстречу с протянутой рукой. По лицу его расплылась улыбка.

— Ты куда пропал, парень? — громко спросил он. — Приезжаю — тебя нет. Встретил мастера — говорит, ты в горах остался, горным воздухом подышать. Пошли искать тебя со Светланой Алексеевной — не нашли...

Я прошел мимо Крамова к Светлане, как бы не замечая его протянутой руки.

— Ты почему не здороваешься? — громко спросил Крамов.

Я не ждал, что он спросит меня. Мне казалось, что он попросту опустит руку как ни в чем не бывало.

— Ведь мы недавно с вами расстались, Николай Николаевич, — сказал я, оборачиваясь и глядя прямо в его синие глаза, — я полночи у вас провел...

— А я как раз думал, что ты об этом забыл, — спокойно ответил Крамов, и глаза его чуть помутнели.

По дороге мчался «газик», приближаясь к нам.

«Кто б это мог быть?» — подумал я, стараясь разглядеть человека, сидящего рядом с шофером.

Это был Фалалеев. Он редко приезжал на участок, и я недоумевал: что привело его сюда, да еще в воскресный день? Фалалеев с трудом вывалился из машины свое тяжелое тело и, сопя и отдуваясь, подошел к нам.

— Ну вот, все в сборе, — сказал он, глядя на меня. — Какую ты кашу там заварил!

Я сразу понял, что речь идет о моем посещении обкома. Вероятно, кто-то позвонил оттуда на комбинат и велел «призвать к порядку», «пропесочить» меня за все, что я там наговорил.

Ну, будь что будет! Обидно только, что все это происходит на глазах Крамова...

— Домá, домá! — восклицал между тем Фалалеев, всплескивая своими толстыми, короткими руками. — А расчеты рабочей силы у тебя есть? А потребность в стройматериалах учтена? А по какому проекту строить, ты знаешь? Домá, домá!..

Я пожал плечами.

— Зачем вы все это говорите, товарищ Фалалеев? — сказал я, не глядя на него. — Ведь вопрос решен...

— Что решен? — взвизгнул Фалалеев. — Ты думаешь, если секретарь обкома скомапдовал, так завтра тебе дома сами вырастут? Напел им лазаря... Секретарь обкома директору звонит, исполком звонит, завтра инструкторы приезжают, из дачного поселка хозяйственного актива три разборных дома забрать грозятся — все для товарища Арефьева, народолобубца... Не мог с нами по-простому, товарищески договориться? Я тебя спрашиваю: не мог?!

Я стоял совершенно ошарашенный и ничего не мог понять.

— Ну, пагай в свою контору, — продолжал Фалалеев, — давай расчеты, завтра в девять ноль-ноль приказано доложить директору...

Я почувствовал прилив огромной, все заслоняющей радости. Все, что не касалось сейчас домов, отошло на задний план. Я с размаху обнял Фалалеева, тщетно пытаясь охватить руками его широкое, толстое туловище...

Удивительно быстро наступает зима в Заполярье! В первых числах сентября в горах выпал первый снег. Сразу стало холодно. Ветер стал пронзительно резким, колючим. Он усиливался с каждым днем и уже мешал ходить, неожиданными порывами пытался сбить с ног. И только зеркальные озера, укрытые горами и лесом, оставались спокойными.

Начались заморозки.

Просто не верилось, что совсем недавно солнце не заходило круглые сутки. День на глазах становился короче, и ночная тьма отвоевывала у суток все больше часов.

Первый большой снег выпал ночью. Затем не переставая он шел весь день, всю ночь и половину следующего дня. Наши повые, за короткий срок поставленные дома со всех сторон занесло снегом. А ветер все дул и дул, сметал снег с открытых мест и заваливал горные ущелья, сглаживал неровности гор и огромными сугробами-карнизами нависал над ложиной.

Теперь солнце не показывалось совсем. Наступила полярная ночь.

Я увидел все это как-то внезапно, сразу. Все предыдущие недели строительство домов, проходка захватили меня целиком, без остатка. Я был до того увлечен работой, что не имел времени оглядеться. Мы уже прошли полкилометра туннеля и теперь регулярно выполняли норму проходки. Грохотали взрывы в забое, сотрясая снег на горе; воздушные волны, бьющие из штольни, подымали маленькие снежные смерчи перед туннелем; круглосуточно сновал электровоз, таща из штольни нагруженные породой вагонетки; круглые сутки не гасли раскачивающиеся на ветру электролампы, освещающие заснеженную строительную площадку.

Треск бурильных молотков был теперь снаружи уже не слышен. Мы ушли далеко в глубь горы. Зато в самой штольне стоял несмолкаемый гул бурения и шум вентилятора, нагнетающего свежий воздух. Вперед, вперед! Все мы были одержимы только этой мыслью, стремились к одной цели.

В те дни весь наш маленький коллектив представлял собой одно целое. Мы так сроднились за месяцы неудач и достижений, побед и поражений, так много было дел, которые стали для нас главными делами жизни, что мы как бы слились в одну семью.

Светлана тоже была захвачена работой. Казалось, в работе она ищет забвения и старается так измотать себя, чтобы уж не оставалось ни времени, ни сил для размышлений. Она почти не покидала забоя, прикрытого завесой буровой шпиль. И тем не менее успевала заниматься с Зайцевым, который аккуратно два раза в неделю приходил на наш участок.

В эти дни на одном участке железной дороги, идущей вокруг горы и соединяющей рудник с обогатительной фабрикой, произошел снежный обвал.

К счастью, лавина, обрушившаяся с горы, оказалась не слишком большой, сила ее иссякла в пути. Засыпав железнодорожное полотно, она почти не причинила вреда домикам стрелочника и путеобходчика, расположенным метрах в двадцати от линии, — только оконные стекла были выбиты воздушной волной.

Комбинат объявил аврал. Все рабочие, не занятые в смегах, двинулись на место обвала расчищать путь.

Я, Светлана и несколько рабочих восточного участка вернулись только на другой день. Осунувшиеся и замерзшие, мы шатались от усталости. Путь был расчищен, движение поездов восстановлено.

Я проводил Светлану. Она села на постель как была — в ватнике, в покрытых ледяной коркой валенках; в тепле с них тотчас же стала стекать вода.

Несколько минут Светлана молча сидела на постели, потом протянула руку за зеркальцем, стоящим на тумбочке.

Посмотрелась в зеркало и тут же бросила его на кровать.

Ждали малоснежную зиму. И не угадали. Огромные снежные карнизы нависали над железнодорожной линией и над строительными площадками туннеля, грозя обрушиться вниз. Управление комбината распорядилось строить противолавинный вал.

Мы построили его.

Но наивно было думать, что двухрядные каменные дамбы смогут противостоять лавине, задержать ее. Вся надежда была на то, что лавина разобьется о них и ее разрушительная сила уменьшится.

Однако жилые дома на нашем участке оставались под угрозой. А кроме того, ведь никто из нас не мог знать, когда обрушится лавина.

Под снежным покровом происходили сложные, невидимые человеку процессы. И вот наступала минута, когда лавина срывалась и с силой пушечного снаряда неслась вниз.

Но когда наступит эта минута? Днем, когда дома почти пусты, или ночью, когда люди спят? Предугадать это невозможно.

Но так казалось только нам, недавним жителям. Мы и не подозревали, что на самой вершине горы расположена маленькая метеостанция, одна из многих тысяч, разбросанных по всей стране.

Разумеется, управлению комбината и старожилам здешних мест о существовании станции было известно. По просьбе комбината метеорологи уже несколько лет вели наблюдение над лавиноопасными местами. Они обычно по телефону предупреждали диспетчера комбината о возможных обвалах. Правда, связь часто прерывалась — ветры, метели, обвалы рвали провода.

Но сейчас положение осложнилось. Ведь теперь у подножия горы работали люди и были расположены жилые дома!

Управление комбината попросило метеостанцию включить в сферу своих наблюдений лавинные пути над восточным участком.

Теперь я знал об этом, но это мало успокаивало меня. После первого обвала я жил в постоянной тревоге за наших людей. Я ломал себе голову над тем, как свести к минимуму опасность новой лавины. И я решил подняться на гору, установить личный контакт с метеорологами, а затем потребовать от комбината проложить прямую телефонную связь между станцией и участком.

На вершину горы вела узкая, обдуваемая ветром и поэтому не заносимая снегом тропинка. Вдоль нее были вбиты железные брусья и по ним протянут канат, чтобы можно было держаться за него при подъеме.

Мне предстоял примерно двухкилометровый подъем. Я вышел в семь утра, оставив в забое Светлану. Небо было совершенно черным, и я подумал, что снега в этих местах не такое уж плохое дело, иначе шагу нельзя было бы ступить без фонаря.

Я шел, держась за канат и опираясь на палку, которую захватил с собой. Некоторое время поднимался среди редкого, но довольно рослого леса на склоне горы. Где-то наверху каркали вороны, перелетая с ели на ель, и сбрасывали на меня снег с потревоженных ветвей.

Сначала было очень холодно, дул резкий северный ветер. Но, пройдя метров триста, я почувствовал, что по спине струится пот. Я воображал, что подъем в два километра не представляет никаких трудностей, но оказалось, что продвигаться по узкой, кое-где покрытой ледяной

коркой тропинке, на пронзительном ветру совсем не легкое дело.

Было десять утра, когда я достиг наконец вершины. Последние метры мне пришлось подниматься по очень крутому склону, и до последнего шага я не представлял себе, какой вид имеет вершина горы.

Наконец она открылась передо мной.

Несколько минут я стоял как зачарованный. Вершина горы представляла собой большое снежное плато. Соседние остроконечные горы, точно замковые башни, окружали ее со всех сторон. Эти постоянно обдуваемые ветрами снежные вершины были почти черные, точно посыпанные углем. Горы, горы, насколько хватает глаз, горы, образующие ущелья, пронасти, горы-лестницы, горы-ворота...

Стояла полная тишина. Здесь было светлее, чем внизу, да и время приближалось к полудню.

Мне казалось, что я стою на поверхности Луны, какой она видна в телескоп. Отсюда были хорошо различимы лавиноносные участки гор. Они походили на огромные широкие желоба. Вот по этим желобам и скатываются снежные лавины...

«Где же станция?» — подумал я, подавленный горным безмолвием, белизной снега.

Я пошел напрямик по снежному плато. Местами снег был твердый и только чуть вздрагивал, дышал под ногами. Но иногда обледеневшая поверхность давала трещины, и я по колену проваливался в сугроб.

Наконец я увидел человека. Он шел наперерез мне, время от времени наклоняясь, точно отыскивая что-то в снегу.

— Товарищ! — во весь голос закричал я.

Человек выпрямился, постоял мгновение и пошел мне навстречу. Теперь я разглядел, что одет он в ватник, а в руках держит короткую лопату.

Через несколько минут мы познакомились. Его звали Василий Семенович. Он оказался начальником метеостанции. Я наскоро объяснил ему, зачем пришел. Василий Семенович обрадовался так, будто всю жизнь только и ждал меня. Мы пошли к станции.

Вскоре я увидел длинное низкое деревянное здание, возле него мачту, а несколько поодаль — обычные на метеостанциях будки с различными приборами. Все это

было похоже на зимовку на Северном полюсе, как она запомнилась мне по фотоснимкам.

Мы вошли в дом. Здесь было очень тепло и как-то по-особому уютно. Горело электричество. В коридор выходило несколько дверей, и, пока мы сбивали снег с валеков, я услышал, как кто-то говорил вполголоса, очевидно в радиотелефон.

— Примите нашу погоду. Ветер северо-восточный, пять метров, временами двадцать пять. Температура — минус восемнадцать...

Через несколько минут весь персонал станции — три человека, включая Василия Семеновича, — окружил меня.

Мне были понятны их радость и возбуждение. Шутка сказать — ведь, кроме подносчиков продовольствия, раз в неделю поднимающихся на вершину, эти метеорологи по неделям, а иногда и по месяцам не видят людей! Сотни радистов во всех уголках нашей страны регулярно принимают сводку, оставаясь невидимыми для этих затерянных на заполярной горной вершине самоотверженных метеорологов.

Еще ничего не зная толком об их быте, я мысленно представил себе трудную службу этих трех совсем еще молодых людей и подивился их мужеству и самоотверженности.

В честь меня был приготовлен праздничный обед. В небольшой комнате на столе в большом котле дымилась наваристые мясные щи, в чугунке, обернутом ватником, «доходила» пшенная каша, на плите кипел чайник.

После обеда Василий Семенович сказал, что ненадолго покинет нас — надо к приборам. Меня пригласил к себе в комнату радист Миша; в прошлом году он окончил техникум.

Белокурый парень сидел рядом со мной на скамье и расспрашивал о Большой земле. Потом он сказал:

— В честь гостя надо бы выпить. Но... — Он пахмурил белесые брови и, понизив голос, будто сообщая невесть какую тайну, добавил: — Василий Семенович насчет выпивки строг. Сами понимаете, нельзя: особое положение.

«Конечно, он прав, — подумал я. — Выпивка в коллективе, состоящем из трех заброшенных на высокую снежную гору людей, долг которых заключается в том, чтобы ежедневно с точностью часового механизма передавать

сводки погоды, ни к чему хорошему не привела бы... Как же все-таки они живут здесь? — продолжал я размышлять. — Без людей, без развлечений, без выпивки, наконец, потому что «особая обстановка». Дни и ночи, месяцы и годы перед глазами все тот же «лунный пейзаж». А народ-то все молодой, не старики какие-нибудь!

Но, может быть, они, все трое, люди со специальными, так сказать, характерами, приспособленными именно к такой жизни? Конечно, если смотреть со стороны, героизм, романтика... А на поверку эта тройка — люди флегматичные, без страстей, без сильных желаний и им по душе равномерная, спокойная жизнь без всяких неожиданностей?..»

И я спросил Мишу:

— Как вы поехали сюда? По желанию или...

— Нет, — покачал головой Миша, — мое желание было другое. Я хотел поехать в Верхоянск, — знаете, это на северо-востоке страны. Очень интересное место для радиста-метеоролога. Считается полюсом холода... Но послали сюда.

В этот момент я услышал звук, похожий на гудение сильно натянутой струны.

— Что это? — спросил я Мишу.

— Провода поют. Ну, антенна и распорки у наших метеобудок. Ветер крепчает.

Вернулся Василий Семенович и увел меня к себе. Мы довольно быстро обо всем договорились. Василий Семенович обещал, что станция будет вести наблюдение за снегом на восточной части горы, остановка только за связью.

— Теперь главная задача, — сказал я, вставая, — протянуть сюда телефонные провода. Завтра же поеду в комбинат, буду требовать. А пока позвольте поблагодарить дорогих хозяев...

— Похоже, вы до дому? — спросил Василий Семенович.

— Именно, — подтвердил я и посмотрел на часы. — Уже три, а я вышел в семь. Восемь часов путешествую. Надо идти.

— Не выйдет.

— Нет уж! — твердо сказал я. — Чувствую, что вы гостю рады, благодарю от души, только мне пора.

— Дело не в гостеприимстве. Ветер крепчает... Пойдемте посмотрим.

Мы вышли из дома. После электрического света показалось, что я попал в крошечную тьму. Прежней тишины уже не было. В ущельях, пропастях, меж вершинами гор гудел ветер. Выли невидимые провода. Когда глаза попривыкли к темноте, я стал различать стремительно летящие снежинки.

— Пойдемте в дом,— сказал Василий Семенович.

Мы вернулись.

— Уходить вам сейчас нельзя,— сбивая снег с валеков, проговорил Василий Семенович.— У нас тут капиталистическая фабрика погоды.

— Почему капиталистическая?

— Никакого планирования,— усмехнулся Василий Семенович.— То массовое производство ветра и метели, то полная депрессия. И все по стихийным, так сказать, законам. Идти вам нельзя, придется ждать.

К вечеру ветер усилился. Миша через каждые два часа передавал сводки погоды.

Василий Семенович ходил по комнате. Профессионально бесстрастный голос Миши, каким он передавал свою первую сводку, сменился теперь иным голосом — в его подчеркнутом спокойствии явно ощущалась скрытая тревога.

И тогда я спросил:

— Почему вы так волнуетесь, Василий Семенович? Ведь больше того, что вы делаете, сделать нельзя. Сводки вы передаете аккуратно. Дом ваш, надеюсь, устоит при любом ветре. В чем же дело?

— Послушайте,— останавливаясь передо мной, сказал Василий Семенович,— ветер начался внезапно, мороз крепчает, в воздухе могут оказаться самолеты. В горах лыжники, туристы. Ведь это же ясно, кажется...

Он снова стал ходить по комнате.

В коридоре завыл ветер. Вернулся третий работник станции — метеоролог Синицын, самый молчаливый из всех троих. Он положил инструменты, снял покоробившийся на морозе плащ и, сев за стол, стал что-то высчитывать на листке бумаги.

— Двадцать,— сказал он, отодвигая лист, и я понял, что ветер достиг двадцати метров в секунду.

— Скажите,— поддаваясь общей тревоге, спросил я,— как вы полагаете, нашему участку не грозит лавина?

— Пока нет,— ответил Василий Семенович.— На восточном склоне лавина еще не созрела, ей еще рано отрываться.

Я успокоился.

Прошло еще два часа. Ветер не усиливался, он стал даже немного утихать.

— Ну, пойдемте отдохнем немного,— предложил Василий Семенович.— Дело, кажется, идет на спад. Утром двинетесь.

«Вот застрял! — подумал я.— Пошел на полдня, а пробуду сутки. Как-то сейчас там, в забое...»

Но делать было нечего. Я пошел в комнату Василия Семеновича. Миша принес чайник. Снова я почувствовал себя уютно. Мы выпили чаю, и Василий Семенович предложил поспать. Он предоставил мне вторую кровать, стоявшую в его комнате.

Мы улеглись.

— Давно в этих краях? — спросил в темноте Василий Семенович.

Я ответил.

— Наверное, не хотелось ехать далеко, в глушь? — продолжал Василий Семенович.— Человек вы молодой, вас должно тянуть поближе к культурным центрам.

— Вы тоже не старый,— возразил я,— а ваш Миша совсем юнец. Однако вы поехали же сюда...

— Ну, наша работа особая, здесь скучать некогда.

— А мне ваша жизнь показалась несколько... однообразной.

— Да? — переспросил Василий Семенович.— Ну, это ошибка. Разве небо здесь однообразно? Ветер однообразен? Да тут на дню иногда по пять раз все меняется.

Он говорил о ветре и небе так, будто они были подчинены ему.

— Вы женаты, Василий Семенович? — спросил я.

— Нет. Жена, пожалуй, здесь заскучала бы.

— Да,— согласился я и подумал о Светлане,— для вашей работы нужен особый характер.

— Какой же? — чуть иронически, как показалось мне, спросил Василий Семенович.

— Ну... не знаю,— ответил я, мысленно перебирая знакомых мне людей и прикидывая, кто из них смог бы здесь работать.— Во всяком случае, человек, любящий

перемены, риск и так далее, для работы здесь не подошел бы.

— А я и сам такого не взял бы, рискового, — энергично проговорил Василий Семенович. — Не терплю таких людей...

Каждый на моем месте почувствовал бы, что последнюю фразу Василий Семенович сказал неспроста — она была ответом на какие-то его тайные мысли. И мне очень захотелось заставить Василия Семеновича разговориться, вовлечь его в дружескую, откровенную беседу.

Я попытался вызвать Василия Семеновича на разговор:

— Почему же? В любящих риск людях есть обаяние, привлекательность...

— Вот что, — холодно и отчужденно сказал Василий Семенович, — вы еще молодой человек. Если хотите послушать совета старшего, никогда не увлекайтесь людьми такого типа.

Я ответил поговоркой:

— «Если бы юность знала, если б старость могла!..»

— Хотите, я расскажу вам об одном таком человеке? — внезапно предложил Василий Семенович. — Так сказать, чтобы юность знала...

«Вот оно!» — подумал я и ответил поспешно:

— Конечно, хочу, Василий Семенович.

— Так вот, это было на фронте, — начал он. — Мне было тогда года двадцать четыре. Я ушел на фронт с первого курса института, доучивался уже после войны... Но дело не в этом. Служил я тогда в разведке на Первом Украинском. Шел сорок третий год или начало сорок четвертого, не помню, только в войне уже наступил перелом... Ну, опять не об этом речь. Словом, я узнаю, что к нам начальником дивизионной разведки прибыл какой-то новый майор.

Ну, разведчики люди дошлые. Недели не прошло, как мы уже об этом майоре все знали. Знали мы, что майор по образованию инженер, работал до сорок третьего года где-то на Урале, был бронирован, но отказался от брони, пошел на фронт, служил какое-то время в штабе другой дивизии, а теперь получил назначение к нам. Словом, видим, подходящей...

Вскоре довелось мне его увидеть, он вызвал меня. Вхожу в блиндаж, доложил как полагается. Прерывает

он рапорт, отнимает мою руку от козырька. «Садись! — говорит. — Что за церемонии между разведчиками!»

Разглядел я его в блиндажном полумраке. Молодой, красивый, простой...

Василий Семенович помолчал.

— Очень полюбили мы его вот так, сразу, — продолжал он. — Только... только не прошло и месяца, как стало нас в нем что-то настораживать. Было в этом человеке какое-то странное сочетание внешней простоты, подчеркнутой демократичности, ясности взгляда, душевной открытости, что ли, с какой-то большой и неоправданной жестокостью.

Скажу вам честно: разведчики, как правило, народ прямой, хороший, но встречались среди них и люди — как бы это сказать? — ну, бесшабашные, что ли. Их мы сразу узнавали: одет не по форме, какой-нибудь особый ремень, саночки чуть до икр, фуражка набекрень, походка развалистая, — дивитесь, разведчик идет! Ну, бывало, и вынуждали сверх положенного...

И вот я обратил внимание на то, что наш майор ведет тщательный учет всех самых малейших проступков наших разведчиков. Что ж, думаю, это неплохо — дисциплину подтягивает. Но если бы он, скажем, за проступок как положено наказывал, никто о нем слова плохого не сказал бы, дело обычное и правильное. Но... как-то прибегает ко мне мой разведчик Семенов. Золотой был разведчик, но усвоил вредную мальчишескую привычку: как из удачного поиска придет, обязательно выпьет и пошумит малость. И вот прибегает ко мне этот Семенов чуть не в слезах. «Вызвал, говорит, майор. Спрашивает: «Пьешь?» — «Выпиваю», — говорю. «Третьего дня, спрашивает, напился, командиру своему противоречил?..»

А противоречие его, скажу вам, заключалось только в том, что спать не пошел, когда ему приказали. Я сам собирался ему за это дело арест на трое суток закатить. «Ну, — продолжает Семенов, — объяснил я майору, как было дело. А он смотрит на меня этак без всякой злобы и говорит: «За пьянку и неподчинение командиру во фронтовых условиях можешь в штрафную загреметь. Исно?» Я молчу. «Так вот, говорит, сегодня пойдешь на поиск. Добудешь «языка» — королем будешь. Не добудешь — завтра явишься, будем твоим делом заниматься».

Потом взял меня за ремень, притянул к себе и говорит: «Чтоб был «язык», понял?»

Рассказал мне все это Семенов, сам дрожит. «Я, говорит, на неделе семь раз жизнью рискую... Только не для начальства, а для родины...»

Сами понимаете, авторитет старшего командира я подбивать не стал. Объяснил Семенову, что он не так, мол, понял, что за пьянку ему действительно может и должно влететь, а «язык» тоже не майору одному нужен.

Пошел Семенов в разведку, добыл «языка». Через неделю ему медаль «За отвагу». А майор свой первый орден получает — Отечественной войны второй степени. Потом уж я узнал, что в тот день кто-то из армейского штаба в нашу дивизию приезжал.

Вы думаете, история с Семеновым была случайностью, эпизодом? — продолжал Василий Семенович. — Нет, это была система. Майор, как правило, посылал на самые опасные дела прощтрафившихся людей. Он воздействовал не на их сознание, напоминал им не о служении родине, пароду, нет! Он брал этих людей в тиски, ставил перед ними дилемму: или подвиг, или суд. За подвиг награждал, этого отрицать нельзя. Но и в этом случае поворачивал дело так, что человек чувствовал себя обязанным за награду лично ему, майору... Впрочем, все это я уже потом понял.

Такие люди, как этот майор, обычно трусливы. Все же я не могу сказать, что майор был трусом. За личную отвагу он получил еще один орден — Красного Знамени. Но смелость его была всегда точно рассчитана, он хорошо знал, когда именно надо проявить смелость, чтобы быть замеченным. Он говорил при случае, что любит риск и азартных людей и только сейчас понял, что сделал ошибку, избрав мирную профессию инженера. Но это еще не самое главное...

Я затаил дыхание, боясь проронить хоть слово из рассказа Василия Семеновича. Слушая его, я представлял себе Крамова в военной форме, с майорской звездой на погонах. «Крамов, Крамов, Крамов!...» — стучало в моем мозгу.

— Дальше, дальше! — нетерпеливо воскликнул я, когда молчание затянулось.

— Была в нашем полку девушка-санинструктор, Маша ее звали. Замечательная девушка, перед самой

войной окончила десятилетку, на фронт пошла добровольно. И любила эта девушка одного нашего разведчика, по имени Костя Палехин... Немало людей в нашем полку были бы счастливы ее любовью, — внезапно глухо сказал Василий Семенович, — но она полюбила Костю. Не хочу лакировать отношений между мужчинами и женщинами на фронте. Много тут напелели обыватели всякие, хотя, конечно, разное бывало. Только любовь Кости и Маши была настоящей, чистой любовью. Они хотели пожениться в первый же день по окончании войны.

И вот заметил Машу этот майор. Что только он не делал! Это уж мы потом, много позже, узнали. И в штаб дивизии хотел ее перетащить, и в роту связи, поближе к себе, устроить... Ну, она до генерала доходила. «Я, говорит, затем на фронт пошла, чтобы на поле боя быть». Осталась у нас.

И тогда произошло следующее. В одном из поисков Костя получил легкое ранение в ногу и с неделю пролежал в санбате. Потом выписался, но нога еще давала себя знать, и мы его берегли, в разведку не посылали, чтобы рана окончательно поджила. И вот прибегает связной, передает приказ: явиться мне и Палехину в штадив, к майору. Приходим. Вопреки обыкновению, майор сидит мрачный, не здоровается. Спрашивает: «Здоровы, Палехин?» — «Так точно, отвечает, здоров». — «Сегодня ночью, — объявляет майор, — пойдете в разведку. Вот сюда», — и показывает на карте участок.

У меня защемило сердце. Это был самый опасный, со всех сторон простреливаемый участок немецкой обороны.

«Надо установить огневые точки противника, — продолжает майор. — Вы знаете этот участок лучше других...» Тогда я не выдержал: «Товарищ майор, разрешите доложить: у старшего сержанта Палехина нога не вполне зажила».

Майор вскидывает глаза на Костю и спрашивает: «Это так?» — «Рана чуть кровоточит», — тихо говорит Костя. «Странно... — сквозь зубы говорит майор. — Вы выписались из санбата несколько дней назад. И странно, что вы вспомнили о ране только после получения задания...»

Палехин вспыхнул, выпрямился и говорит: «Я совершенно здоров, товарищ майор. Разрешите готовиться к выполнению задания?» — «Идите».

В ту ночь Костю убили. Из-за больной ноги он отстал от товарищей, когда немцы открыли по ним кинжальный огонь. Те вернулись, вытащили его из огня, но уже мертвого. В этом деле из пятерых разведчиков погибли трое... Мы похоронили его всем полком.

— А Маша?! — воскликнул я.

— На нее было страшно смотреть. Она не плакала. Только лицо — такое молодое, почти детское лицо у нее было — сразу постарело. Когда Костю привезли на полуторке к месту похорои, Маша подошла к машине, встала на колесо. Костя лежал на еловых ветках. Долго она смотрела на него. И все люди безмолвно стояли и ждали, пока кончится это страшное прощание...

Василий Семенович замолчал. Последние фразы он произносил с трудом.

— Потом Маша пошла к майору, — продолжал Василий Семенович, поборов волнение. — Не знаю, о чем они там говорили, только майор после этого с неделю не показывался в нашем полку. А Маша получила перевод в другую дивизию.

— Неужели, — воскликнул я, — этот негодяй остался безнаказанным? Его не судили, не разжаловали?

— За что? — с горькой прощней спросил Василий Семенович. — Он не сделал ничего незаконного. Ни один его поступок не был подсуден. Да и мы-то составили о нем свое мнение уже задним числом, подводя, так сказать, итоги, когда майор уже благополучно отбыл.

— Куда? — спросил я, и сердце мое сильно забилося.

— Не знаю, — уже другим, безразличным тоном сказал Василий Семенович. — Офицеры из штаба рассказывали, что пришло требование из министерства и его вернули на гражданскую службу. Теперь, с двумя орденами и биографией фронтовика, ему уже незачем было рисковать. За этим и приезжал. И он благополучно отбыл, сам, наверное, и попросился в тыл.

Вот почему я так не люблю, так ненавижу этих рискованных людей, этих любителей азарта ради азарта. Это ведь только говорят так. А на самом деле за любым риском, если он не на пользу чему-то большому, не на благо людей, обычно кроется самая низкая корысть, обыкновенный авантюризм. Ну вот, — устало сказал Василий Семенович, — а теперь давайте спать.

— Василий Семенович, прошу вас, еще один вопрос, — проговорил я, чувствуя, что не в силах больше сдерживать свое волнение. — Как фамилия этого майора?

— Фамилия? — переспросил Василий Семенович. — Разве в фамилия дело? Ну, Васильев. Что от этого меняется?.. Спать!

— Неправда! — воскликнул я. — Вы, наверно, забыли, спутали фамилию!

— Спутал? — удивленно переспросил Василий Семенович. — Нет, с чего бы я стал путать? Да и не имеет это значения. Давайте спать, мне скоро работать, а вам вниз идти.

Прошло немало времени, прежде чем мне удалось успокоиться и задремать.

Я проснулся от назойливого дребезжащего звука. Источник этого звука был где-то тут, неподалеку.

— Василий Семенович, вы спите? — шепотом спросил я.

— Не сплю, — ответил Василий Семенович.

— Что это дребезжит?

— Заслонка. Заслонка в печи. Это тоже наш «прибор»: раз дребезжит, значит, ветер сорок метров в секунду. Хоть не проверяй.

Он стал подниматься с кровати.

— Куда вы? — спросил я. — И сколько сейчас времени?

— Два ночи, — ответил Василий Семенович, поднося к глазам часы со светящимся циферблатом. — Вы можете еще поспать.

— А вы?

— Я? — переспросил Василий Семенович. — Я не могу. Заслонка не позволяет.

Он зажгет свет. Проклятая заслонка дребезжала все громче и громче. Вернее, она отплясывала теперь какой-то неистовый танец. «Почему он не вынет ее?» — подумал я. Но Василий Семенович, видимо, не обращал больше внимания на заслонку. Он вышел из комнаты, не сказав мне ни слова.

Я оделся и выглянул в коридор. Никого. Подошел к входной двери, открыл ее и высунулся в темноту. И тотчас же ледяной ветер оглушил меня ударом в лицо. Я захлопнул дверь. За стеной что-то выло, гремело, визжало на разные голоса.

В противоположном конце коридора показался Василий Семенович. Он был в зеленом брезентовом плаще с капюшоном. На груди висела аккумуляторная лампа, такая же, какую применяли в туннеле. В одной руке он держал лопату, в другой — что-то вроде небольшого ящика.

— Вы что, собрались выходить? — спросил я, только потом сообразив, что вопрос мой прозвучал довольно глупо.

— Надо измерить метель, — проходя мимо, ответил Василий Семенович.

Я крикнул:

— Подождите! Возьмите меня с собой!

— Что ж, идемте, — на ходу ответил Василий Семенович. — Поможете. Все мои люди заняты...

Мы попали в ад крошечный. Ветер, несущий тысячи острейших игл, бил со всех сторон. Меня тотчас же сбilo с ног. Василий Семенович пополз. Я полз за ним в темноте, преодолевая стену метели и ориентируясь на тонкую змейку света от фонаря, скользящую рядом с Василием Семеновичем по снегу. Хотел что-то крикнуть, но, едва раскрыл рот, ветер забил мне горло снегом. Я задыхался. Казалось, еще мгновение — ветер и снег достигнут такой силы, что обрушат, снесут с горы все, что хоть сколько-нибудь выдается над поверхностью. Но Василий Семенович все полз и полз вперед, выгребая руками снег, точно плыл в бушующем море. Лопату он сунул мне, а ящик не выпускал из своих рук. Свет фонаря погас, мы ползли теперь в абсолютной темноте.

Вдруг что-то черное пролетело в воздухе, задев меня по лицу. Через несколько минут Василий Семенович остановился. Фонарь снова зажегся. В узком пучке света была видна сплошная стена снега. Василий Семенович был без шапки, — очевидно, ее сорвало у него с головы.

— Ройте, ройте! — крикнул Василий Семенович, наклоняясь ко мне и касаясь моей щеки холодными, шершавыми губами.

Я стал рыть яму, не зная, для чего это делаю. Но у меня ничего не получалось. Рыть лежа я не умел, а при- встать было невозможно.

Василий Семенович вырвал у меня лопату и стал копать сам. Он рыл яму так, как это, вероятно, делают солдаты, окапываясь под сильным огнем.

— Держите метелемер, унесет! — крикнул Василий Семенович.

Я понял, что он говорит о тяжелом ящике, который, громыхая, несколько раз перевернулся на снегу.

Вырыв яму, Василий Семенович сунул мне лопату, опустил в яму метелемер. Затем он сел на него, вытащил из-под плаща секундомер и направил на него свет фонаря. В тот момент, когда Василий Семенович приподнялся, чтобы достать секундомер, ветер с треском оторвал от ящика какую-то планку, и она мгновенно исчезла в темноте.

— Ах, черт! — выругался Василий Семенович, снял с руки перчатку и стал забивать ею образовавшееся в метелемере отверстие.

Не помню, как мы доползли обратно, не помню, как ввалились в коридор.

На Василия Семеновича было страшно смотреть. Волосы, брови превратились в оледеневший снег.

— Вам надо немедленно отогреться, — сказал я, едва шевеля окоченевшими губами.

Василий Семенович не обратил никакого внимания на мои слова. Он снял плащ, повесил его на гвоздь в коридоре, несколько секунд тер окоченевшие руки снегом, который сгребал со своей же головы, затем потащил свой метелемер в комнату. Уже на пороге он крикнул мне:

— Сразу к печке не подходите! Потанцуйте сначала в коридоре!

Метель бушевала всю ночь, и утро, и день...

Вечером я покинул станцию. Метель утихла. Снова установилась глубокая тишина.

Василий Семенович сказал, что ночью скорость ветра достигала шестидесяти метров в секунду. Ветер вырвал из креплений и отнес метра на два в сторону недавно выстроенный тамбур, прикрепленный к стенке дома железными скобами. Ураган грозил разрушить метеоустановки и вывести из строя все приборы, находящиеся на станции. Радиот и метеоролог всю ночь вели борьбу с ураганом, крепили антенну, обматывали толстыми веревками будки с приборами и привязывали их к столбам.

Василий Семенович проводил меня до начала спуска. Я пошел вниз, а он долго еще стоял на вершине и глядел мне вслед.

Я шел медленно, держась за канат, протянутый вдоль тропинки. Ночная метель распатала железные брусья, на которых держался канат, теперь он местами провисал и стелился по снегу. Идти было трудно.

Но мне казалось, что идти трудно не потому, что тропинку запесло снегом, и не потому, что канат убегал из моих рук. Я нес большую тяжесть в себе самом.

Свист и завывание падавшей метели все еще стояли в моих ушах, и на этом звуковом фоне отчетливо звучал голос Василия Семеновича, рассказывающего о майоре.

Я шел, а образ Крамова в военной форме, с майорскими погонами неотступно стоял передо мною. «Это был Крамов, Крамов, Крамов! — твердил я себе. — Василий Семенович попросту не захотел назвать его имени. Он знает, наверное знает, что Крамов здесь, внизу, под горой, и не хочет назвать его по имени, боится ссоры, боится обвинений в клевете. Как он сказал, Василий Семенович, про того человека? «Он не сделал ничего незаконного, он неподсуден...» Да, в этом причина.

Но как же так? Из-за этого человека погиб другой, смелый, хороший, он сломал жизнь девушки... и он неподсуден?

И он здесь, он продолжает свой путь, жестокий путь карьериста, он в почете, его ставят в пример...

Почему я не борюсь с Крамовым? Почему не пытаюсь разоблачить его, выкинуть из нашей жизни? Почему разрешаю ему разлагать людей, отравлять Светлану ядом сомнений?

Разве я не вижу, не сознаю, что Крамов косвенный, если не прямой, виновник душевного разлада Светланы?

«Светлана, Светлана! — мысленно обращался я к ней. — Неужели ты не чувствуешь, не ощущаешь того же, что чувствую я? Неужели ты не видишь, кто такой Крамов, не хочешь бороться против него вместе со мной?..»

Я шел и думал о ней, потому что ближе ее не было для меня человека.

Да, да, я не оговорился, даже в те минуты, когда я осуждал ее, когда между нами возникали холодные размолвки, я любил ее. Я вызывал перед собой образ Свет-

ланы, той, которая поехала след за мной в Заполярье, я чувствовал ее руки на своих висках, ее руку в своей руке...

Я шел, проваливался в снегу, не замечая, как сбиваюсь с тропинки и как снова нахожу ее.

Но образ Крамова не исчезал. Он неотступно плыл перед моими глазами.

Только ночью я добрался до нашей площадки. Ее занесло снегом. В бараке, где теперь помещался склад инструментов и деталей, было темно.

В наших жилых домах, расположенных в виде буквы «Г» у подножия горы, окна тоже были темны — люди уже спали. Только в комнате Светланы горел свет. И то, что она не спала, точно ждала моего возвращения, обрадовало меня.

Вероятно, в жизни каждого человека бывают такие моменты, когда мысли, мучащие своей противоречивостью, внезапно раскладываются в сознании в строгом и ясном порядке. И тогда человеку кажется: те, кто не понимал его, не соглашались с ним, теперь наверняка поймут и согласятся.

Этот новый, четкий порядок мыслей помогает человеку яснее увидеть цель. Он не устраивает задачу, которую так трудно было разрешить, но ближе подводит к ее решению. Может быть, во всем этом кроется самообман, иллюзии, но так бывает...

По крайней мере я в те минуты был уверен, что достаточно мне увидеть Светлану и высказать ей все, что я думаю, выложить все выводы, к которым я пришел, — и она поймет меня и все сомнения будут разрешены.

В новом доме комната Светланы находилась рядом с моей.

Я вошел к Светлане без стука, как был, в полушубке и шапке.

Светлана лежала на постели и читала. На ней был нестрый, со слегка вздернутыми плечами халат.

Поспешно отложив книжку, она встревоженно спросила, приподнимаясь на постели:

— Что случилось, Андрей?

— Сейчас я окончательно порвал с Крамовым, — сказал я.

Светлана удивленно посмотрела на меня.

— Ты был у него?

— Нет. Но это не имеет никакого значения. Теперь он мне ясен, ясен до конца,— говорил я, шагая взад и вперед по комнате и оставляя на полу следы тающего на валенках снега.— Он обманывает людей, обманывает нас. Я должен сказать об этом всем, должен, понимаешь?..

Она не отвечала.

— Почему ты молчишь, Светлана?

— А что я могу сказать? Что я должна сказать?

— Света, я не могу понять твоего отношения к Крамову. Я не могу понять, что он хочет от тебя. Поссорить нас? Разъединить? Подожди, не спорь, ведь я слышал тот ваш разговор в горах, когда вы искали меня! Светлана, пойми же меня! Этот Крамов становится для меня воплощением всего, что я ненавижу в жизни. А сейчас... сейчас я узнал о нем кое-что такое... Он просто негодяй, преступник, если то, что я узнал, правда. И я чувствую, что не могу молчать. Я должен открыть людям глаза на Крамова. Я объявляю ему войну. И я хочу знать, будешь ли ты бороться вместе со мной.

Я стоял перед ней в расстегнутом полушубке, в шапке, сдвинутой на затылок, разгоряченный быстрым спуском с горы и ходьбой по сугробам.

Светлана встала, сняла с меня полушубок и шапку и повесила их на гвоздь у двери.

— Послушай, Андрей,— сказала она, снова садясь на кровать,— почему я все время должна решать какие-то вопросы, все время делать выбор, все время нести ответственность за дела и людей, не имеющих прямого отношения ни ко мне, ни к тебе? Зайцев недоволен жизнью — я должна думать об этом. Рабочим плохо живется — я должна что-то решать. А теперь с Крамовым. И опять должна что-то решать, выступать за что-то и против чего-то. Я вечно стою перед выбором: «Направь пойдешь — жив не будешь, налево пойдешь — коня потеряешь...» Трудно так жить, Андрей!

— Жизнь не стоячий омут.

— Но и в водопаде существовать невозможно.

— Это не твои слова, Светлана, не твои мысли! Это крамовская работа!

— Перестань! — сказала Светлана.— Ну, при чем тут Крамов? Ты просто мучишь меня!..

Эти последние слова она произнесла с такой усталостью, с такой тоской, что я растерялся.

— Я так ждала тебя все это время,— продолжала Светлана,— мне так хотелось, чтобы ты пришел ко мне без забот о Зайцеве, о Крамове, о домах, хоть один раз без них! Сколько раз я прислушивалась к твоим шагам,— они обрывались у твоей комнаты, совсем близко от меня... Иногда мне хотелось кричать, кричать вот в эту стену, отделяющую меня от тебя: «Зайди же, зайди, зайди!» Молчи! Я знаю, что во многом виновата сама, я знаю, что ты любишь меня, что твоя любовь сильная, верная, глубокая, а я все чего-то боюсь, чего-то тяну... Но и ты, ты тоже виновен! Ведь я здесь одна, совершенно одна...

И она разрыдалась. Она плакала, не опуская лица, не поднимая к нему рук, плакала, не пытаясь остановить слезы, утереть их. Я бросился к ней, сел рядом на постели и прижал к себе ее голову.

И вдруг окно комнаты озарилось каким-то прозрачным светом.

«Пожар! — мелькнуло в моем сознании.— Пожар в пильне, загорелась электропроводка!»

Вместе со Светланой мы бросились к двери.

Горело небо. И внезапно погасло, потемнело, но тут же на нем появились бледные зеленоватые пятна, они меняли очертание на глазах, превращались в снопы, чуть красноватые у основания, потом в костры, и вот уже через все небо перекинулся огромный разноцветный выгнутый мост, светлая дорога.

— Света, Света, смотри! Это северное сияние! — повторял я, завороченный чудесной игрой красок.

Светлана увлекла меня назад, в комнату. Она потушила свет, и заиндевшее стекло в окне стало переливаться, играть всеми огнями радуги. Отблески этой радуги ложились на пол, стены и потолок комнаты; казалось, что вокруг нас в волшебном хороводе мчатся юркие белки с пушистыми цветными хвостами...

Теперь мы были одни, одни во всем мире. Все ушло куда-то вдале, в небытие: сомнения, горести, Крамов, туннель — все. Это произошло как-то сразу, внезапно.

— Верь мне, я прошу тебя, верь мне! — шептала Светлана.— Ведь ты единственный, кому я нужна, единственный, кого я люблю...

Счастье переполняло меня. Я чувствовал, как горят руки Светланы, которыми она крепко обхватила мою голову.

— Ты не уйдешь отсюда, ты останешься здесь,— шептала Светлана.

...Я ушел от нее под утро. Тихо, на цыпочках, пробрался в свою комнату. То, о чем я мечтал, свершилось, Светлана стала моей женой. Ни я, ни она не произнесли этого слова, но разве в нем дело?

Все изменилось вокруг, все выглядело как-то по-новому. Лег на свою постель не раздеваясь. Не хотелось ни на секунду прервать ощущение небывалого счастья, которое переполюило меня.

И все-таки я заснул...

Разбудили меня громкие голоса и шарканье ног в коридоре.

Прислушался. Голоса за стеной не умолкали. Кто-то несколько раз назвал мою фамилию. Потом в дверь постучали.

Я выбежал в коридор и увидел Агафонова.

— Товарищ Арефьев! — закричал он. — Скорее к телефону!

Я помчался в контору. Снятая телефонная трубка лежала на столе.

— Где вы пропадаете, товарищ Арефьев? — раздался в трубке взволнованный голос диспетчера. — На дороге обвал. Между комбинатом и западным участком. Есть опасение, что погиб шофер. Срочно мобилизуйте людей, идите на дорогу!

...Было по-прежнему темно, когда мы подошли к месту обвала и увидели поваленные лавиной деревья, голый склон горы и глыбу снега, завалившую дорогу.

Рабочие западного участка во главе с Крамовым подошли к месту обвала почти одновременно с нами.

Я подавил в себе неприязнь и спросил Крамова, чью машину засыпало обвалом.

— Не знаю, — отрывисто ответил он.

— Странно! Ведь дорога была закрыта, объявлена лавинная опасность...

— Очевидно, шофер не знал приказа.

Раскопкой руководил Фалалеев. Зажглись десятки шахтерских ламп, и лопаты вонзились в снег.

Не прошло и часа, как из-под снега показался расщепленный борт грузовика. Мы стали копать еще быстрее, лопаты поблескивали на свету газовых и аккумуляторных

ламп. У всех была только одна мысль — поскорее докопаться до кабины...

И хотя мы понимали, что спасти шофера уже невозможно, в наших сердцах все еще теплилась надежда.

Наконец кабину откопали. Шофер был мертв. Стенки кабины помешали лавине раздавить его, но человек задохнулся, попав в снежный склеп. Я подошел и посмотрел в лицо шофера.

И едва удержался от того, чтобы не вскрикнуть. На расщепленной спинке кабины лежал Зайцев. Лицо у него было белое, а руки вытянуты вперед, точно он хотел удержаться, отодвинуть наваливающуюся на него стену снега.

Мне почудилось, что все, что я вижу сейчас, — эти вплющенные в снег, раздробленные обломки грузовика, мертвый Зайцев, вытянувший вперед руки, — все медленно поворачивается вокруг своей оси.

Я на мгновение закрыл глаза, а когда снова поднял веки, то увидел спину Крамова, склонившегося над трупом.

— Послушайте, Крамов, — сказал я, с трудом выговаривая слова, — ведь это же... Зайцев!

Крамов вздрогнул при звуке моего голоса, потом медленно выпрямился, обернулся ко мне и ответил спокойно и с неожиданной для него торжественностью:

— Да. Он погиб на посту.

Рабочие западного участка понесли своего товарища на руках — машина не могла подойти к месту катастрофы.

Похороны Зайцева были назначены на вечер следующего дня, у дороги, там, где его застигла смерть. Все свободные от работы люди нашего участка пошли почтить память погибшего.

Светлана шла рядом со мной.

Вскоре мы увидели приближающуюся похоронную процессию.

Впереди несли в руках зажженные факелы. Вслед за ними рабочие несли на руках гроб. На груди у каждого горела шахтерская лампочка. В конце процессии следовала автомашинна, фары ее были затянуты черной материей.

Горы, казалось, сдвинулись, сомкнулись вокруг процессии. Копоть, слетая с факелов, ложилась на белый снег.

Гроб поставили в кузов автомашины, на невысокий деревянный постамент. Рабочие с факелами стали у изголовья. В кузов поднялся Крамов. При свете факелов было хорошо видно его лицо, исполненное мрачной, сосредоточенной торжественности. Крамов был в ватнике. Ворот расстегнут, несмотря на мороз. На рукаве черная повязка.

— Товарищи, боевые друзья! — тихо, но отчетливо начал Крамов. — Сегодня мы хороним нашего соратника, одного из солдат маленькой армии, которая штурмует эту гору. Он погиб на посту... Пусть же памятником ему будет туннель, проходку которого мы закончим досрочно!

Крамов выдержал большую паузу и сказал:

— Прощай, дорогой товарищ!

Наклонился и поцеловал покойника в лоб.

Затем выступили представители комбината и общественности. Я почти не слышал их речей — в моих ушах все еще звучал голос Крамова и плач Светланы.

Мы возвращались в глубоком молчании. Я проводил Светлану в ее комнату. Всю дорогу она шла в оцепенении. Казалось, в глазах ее застыло отражение мерцающих факельных языков. Она села на постель, не глядя на меня.

— Это ужасно... Завтра он должен был прийти ко мне заниматься... Как это ужасно!

— Конечно, родная, это ужасно! — глухо сказал я. — Еще никогда мне не приходилось видеть смерть так близко. Мой отец умер давно, на фронте я не был. Но что поделаешь, это надо пережить.

— Это ужасно, ужасно! — точно в забытьи повторяла Светлана. — Он задохнулся. Один, в снежной могиле...

Я не знал, какими словами утешить ее. Я сам был подавлен, ошеломлен случившимся.

Всего сутки прошли с тех пор, когда счастье заслонило все, что меня тяготило и волновало последнее время. И вдруг снова все омрачилось.

Я думал: «Какая жестокая, целепая смерть! Как это произошло? Кто виноват в том, что этот хороший, так упорно рвавшийся к знаниям и счастью парень погиб? Стихия? Страшная случайность? Почему он поехал, когда было объявлено о закрытии дороги? Почему поехал именно он, непрофессиональный шофер?» Я проверял, в книгу для записи приказов рукой Агафонова было внесено полученное по телефону распоряжение диспетчера

комбината закрыть дорогу. Там отмечено и время — приказ был отдан за несколько часов до обвала. Но это значит, что такой же приказ был получен и на западном участке, на всех объектах комбината.

Зачем же Зайцев поехал? Кто ему разрешил?

— Кто ему разрешил? — неожиданно для себя произнес я вслух.

— О чем ты? — рассеянно спросила Светлана.

— Я думаю: зачем Крамов послал Зайцева?

— Мало ли зачем! Какое-нибудь срочное поручение на комбинат.

— А приказ о закрытии дороги?

— Оп мог послать Зайцева еще до приказа.

Конечно, могло быть и так. Крамов послал его еще до получения приказа. Зайцев выполнил поручение, а потом заехал куда-нибудь по своему делу в поселке. Там никто не знал о закрытии дороги, и, возвращаясь, Зайцев попал под лавину. Да, могло быть и так.

— Могло быть и так, — сказал я.

Но Светлана уже не слушала меня. Она снова впала в забытье.

Я взял ее за руки и сказал:

— Света, родная, ну не надо так сильно переживать! Ведь этим уже ничему не поможешь. Мне тоже очень горько, очень жалко этого парня, ведь я тоже знал его. Но что поделаешь... несчастье! И я сейчас уверен, что в одиночку нам было бы гораздо труднее пережить его гибель. Но сейчас, когда мы вместе, когда мы муж и жена...

Светлана внезапно вздрогнула и точно вернулась к действительности.

— Андрей, послушай, — тревожно сказала она, — а тебя никто не заметил тогда, ночью, когда ты уходил от меня?

— Нет, — удивился я ее неожиданным вопросу. — Какое это имеет значение? Разве мы собираемся скрываться от людей? Если бы не это несчастье, мы сегодня же объявили бы, что мы муж и жена...

— Нет, нет! — воскликнула Светлана, вырывая руки. Она как будто испугалась поспешности, с которой это сделала, и добавила уже спокойнее: — Андрей, милый, давай подождем. Начнутся лишние разговоры, сплетни...

— Какие сплетни? О чем ты говоришь, Света?

— И потом — я хочу отпраздновать нашу свадьбу не теперь, не среди этой крошечной полярной почп, — не

ствечая на мой вопрос, продолжала Светлана. — Давай подождем, ну, немного подождем. Скоро покажется солнце, наступит весна...

Я встал. Лицо мое горело.

— Ты... ты раскаиваешься? — тихо спросил я.

— Нет, ни одной минуты! — быстро ответила Светлана и встала рядом со мной. — Только... только давай подождем немного, совсем немного... Дай мне привыкнуть, привыкнуть к этой новой мысли... Разве тебе мало того, что произошло? Разве я не с тобой?

В дверь постучали. Светлана отошла от меня и крикнула:

— Войдите!

На пороге стоял Агафонов. В руке он держал газету.

— А я вас разыскиваю, Андрей Васильевич, — сказал он. — Вот поглядите, только что принесли.

Он протянул мне газету. Это была комбинатская многотиражка, и на первой ее странице я увидел поздравительную телеграмму министра, адресованную Крамову. В телеграмме отмечались успехи западного участка, завершившего две трети работ.

— Черт возьми! — воскликнул я. — Но ведь и мы проли столько же?

Я вопросительно и недоуменно оглянулся на Светлану, читавшую телеграмму из-за моего плеча.

— Может быть, Крамов прошел свои метры на день раньше? — предположила Светлана. — Или на несколько часов? Комбинат мог успеть сообщить в Москву.

«Какая оперативность! — подумал я. — Какая странная оперативность!»

Да, я ошибся в Светлане.

До сих пор я не могу понять: пошла ли она на близость со мной потому, что любила меня и не могла противостоять своему чувству, или потому, что хотела сжечь корабли и начать новую жизнь? Или, наоборот, она надеялась, что я после той ночи переменюсь сам?

Не знаю... Но так или иначе я очень скоро убедился — Светлана по-прежнему далека от меня.

Вначале мне казалось, что все решилось той ночью, освещенной северным сиянием.

Мне казалось, что не всегда понятная мне борьба в душе Светланы окончена и то, что было дорого мне в ней, что я любил, победило и теперь мы навсегда вместе.

Но я ошибся. Наше сближение не было естественным, закономерным шагом Светланы. Решившись на близость со мной, она тотчас же испугалась, испугалась самой себя и мгновенно отошла, внутренне отдалилась от меня.

Все это я понял только позже...

А в то время я был ошеломлен поведением Светланы.

Сначала я пытался убедить себя в том, что наступившая отчужденность — следствие гибели Зайцева, что это трагическое происшествие потрясло Светлану.

Но нет, дело было не в этом. Постепенно я начинал сознавать, что, физически сблизившись со мной, она в чем-то большом, главным не сделала ни одного шага ко мне.

Я убежден, что она сама не сознавала, что делает. Я верил: в ту ночь, обнимая меня, Светлана была искренна, ей самой казалось, что все решено между нами.

Но потом она испугалась...

Когда после той ночи я пришел в ее комнату как к себе домой, я вдруг почувствовал, что наткнулся на прозрачную, но непреодолимую стену между нами. Как я мучился в те дни! По десять раз на день я искал случая остаться со Светланой наедине — она избегала этого. Возвращаясь в свою комнату, я громко поворачивал ключ в замке, ходил, стуча ногами, передвигал стулья в надежде, что Светлана услышит и позовет меня... Но она молчала. В тех случаях, когда ей трудно было избежать меня, — в штольне, на частых служебных летучках в моей конторе перед началом смен — я пытался встретиться со Светланой взглядом. Она отводила глаза...

И вот неотступная, мучительная мысль стала сверлить мой мозг: Крамов! Все дело в Крамове! Я заблуждался, думая, что он безразличен ей. Я был слишком доверчив. Меня обмануло внешнее безразличие, с которым Светлана слушала Крамова тогда, в горах.

Нет, он не был безразличен ей, не был! Сблизившись со мной, она поняла, что делает окончательный выбор, и испугалась...

О, как я ненавидел в те дни Крамова! Были минуты, когда мне казалось, что я мог бы уничтожить его

физически, убить, растоптать, — мне дико признаваться сейчас в этом, но так было, было! Иногда же мне приходила в голову другая, не менее нелепая мысль — поехать к Крамову и объясниться с ним. Я готов был просить его, да, просить, умолять отказаться от Светланы, доказать Крамову, что она не нужна ему, что они разные, совсем разные люди, что для него, Крамова, Светлана только мимолетное увлечение, что он забудет о ней, как только кончится стройка и он уедет отсюда, очутится среди других людей, других женщин... А для меня в Светлане вся моя жизнь...

На один из ближайших дней было назначено открытое партийное собрание управления строительства комбината для обсуждения хода туннельных работ.

Внутреннее волнение мое достигло предела.

Нет, не потому я волновался, что опасался критики нашей работы: времена отставания давно прошли, мы изо дня в день выполняли план.

Причина была в другом. Меня неотступно преследовала мысль о Крамове, желание разоблачить его. После того как при не вполне понятных мне обстоятельствах погиб Зайцев, желание это все больше овладевало мной.

Я хотел посоветоваться с Трифоновым, но его уже вторую неделю не было на участке: у Павла Харитоновича опасно заболел сын, живущий в областном городе.

В ночь перед собранием я не мог заснуть. Я ощущал острую, непреодолимую потребность рассказать о своем намерении Светлане. Тихо, стараясь, чтобы никто меня не заметил, я прешел по коридору и слегка толкнул дверь в ее комнату. Дверь была заперта. Мой стук разбудил Светлану.

— Кто там? — окликнула она.

— Это я, — шепотом ответил я. — На одну минуту... Мне очень надо с тобой поговорить.

Она открыла дверь и отошла в темноту.

— Подожди, не зажигай свет, — сказала Светлана. — Что случилось?

— Нет, нет, ничего особенного, не волнуйся! Просто мне очень надо поговорить.

Я слушал, как она загремела стулом, — очевидно, одевалась в темноте.

— Иди сюда, только тихо, — сказала она. — Держи руку. Вот сюда...

Мы сели.

— Завтра партийное собрание, Светлана, — сказал я. — И я не могу больше молчать, я уверен, что Крамов виноват в смерти Зайцева. Больше того — у меня есть некоторые основания думать, что на его душе еще одна смерть. Это было раньше, во время войны... Я пришел к тебе за поддержкой, я хочу, чтобы мы были единомышленны, чтобы ты поддержала меня. Я не требую от тебя никаких публичных выступлений, но должен знать, что ты со мной, что Крамов наш общий враг. Тогда мне будет легче, в сто раз легче бороться!

— Из-за этого ты и пришел ко мне... ночью? — спросила Светлана.

— Но это важно, очень важно, пойми!

Снова наступило молчание.

— Я прошу тебя, умоляю не делать этого, — сказала Светлана. — Он... сильный человек. Он знает, чего хочет, и не пощадит тех, кто встанет на его пути. Ах, Андрей, ты его еще не знаешь! Я умоляю тебя, прекрати эту бессмысленную борьбу! Зачем тебе все это? К чему?

— Я не остановлюсь на полдороге. Передо мной неправда, и я буду бороться с ней, несмотря ни на что.

— Оставь эти громкие слова, Андрей! — воскликнула Светлана. — Борьба, правда, неправда, разоблачить, сорвать маску... Надоело!

— Послушай, Света, — твердо сказал я, — давай же поговорим всерьез, давай выясним: что стоит между нами? Ответь мне прямо, честно: может быть, ты... может быть, все-таки тебе жалко Крамова?

— Нет, нет, — поспешно ответила она, — мне жалко тебя.

— Но мне же ничего не грозит, Света!

— Тебе всегда будет что-то грозить, Андрей.

— Не понимаю. Что ты хочешь этим сказать? Что у меня плохой, неуживчивый характер? Что я всегда буду навлекать на себя неприятности? Это ты хочешь сказать?

— Не знаю... Я ничего не знаю, Андрей! Кроме одного: я хочу жить, понимаешь, жить просто, спокойно, нормально... Ну, обругай меня, скажи, что я обывательница, мешанка, боюсь трудностей. Присоединись к тем, кто клеймит этими словами людей, желающих обыкновенного, простого счастья...

Нет, она не понимала меня!

— Но ведь я тоже хочу счастья, Света! Тебе, себе, другим!

— Неправда! — воскликнула она. — Ты себялюбец, вот ты кто! Меня ты не любишь, знаю, знаю, не любишь! Ты любишь только себя и свои выдуманные правила жизни, свою позу благодетеля человечества. Уйди, пожалуйста, прощу тебя!

Вы знаете, что все собрания, партийные и беспартийные, которые проводятся во всех уголках нашей земли, на суше и на море, в центре и в провинциях, в снежных и песчаных пустынях, на полях и в заводских стенах, условно можно разделить на две группы.

В первую группу входят собрания, созданные самой жизнью, ее событиями. Они, эти собрания, необходимы каждому, кто на них присутствует, они вызваны потребностью каждого высказать то, что волнует его разум и сердце, или послушать, что скажут по этому поводу товарищи. После таких собраний всегда что-то меняется в жизни человека и коллектива, что-то становится яснее и понятнее; симпатии и антипатии, уважение и ненависть приобретают после таких собраний очень четкие, определенные формы.

Но есть иные собрания. Они не нужны никому, если не считать тех людей, которые их организуют. Да и у них нет необходимости в этих собраниях, если иметь в виду потребность разума и сердца, а не казенную необходимость отчитаться перед вышестоящей инстанцией.

Печать равнодушия и мертворожденности лежит на таких собраниях.

«Есть предложение поручить ведение собрания...»

Собранию это безразлично. Не все ли равно, кто будет «вести» ненужное, неинтересное людям дело? Пускай «ведут», лишь бы поскорей...

А дело скучное, неинтересное. Это видно уже из названия доклада: «О некоторых предварительных итогах движения за ускорение оборачиваемости...» И докладчик надоел. Слышали его не раз. Неизвестно, кого он любит, кого презирает, за что готов умереть, за что жить до ста лет.

Докладчик просит час.

— Э-э, нет! Тридцать минут! — кричит собрание: на этот раз затронуты его кровные интересы, и оно оживляется.

Но у докладчика доклад написан на бумаге. «Перестроиться на ходу» он не умеет, всю жизнь читает по написанному.

— Есть все же предложение, — вызывает председатель, — дать час. — И, конечно, добавляет: — Вопрос, товарищи, серьезный.

Ну что поделаешь, положение безвыходное, час так час! Доклад начинается...

Открытое партийное собрание Управления строительства началось в шесть часов вечера. Двадцать три коммуниста и кандидата партии и беспартийные собрались в маленьком дощатом зале заседаний. Председатель, секретарь партийной организации Сизов, объявил название доклада: «О некоторых предварительных итогах хода строительства туннеля». Докладчик — начальник Управления строительства Фалалеев.

Доклад оказался самым обычным, проходным, так сказать, докладом. Много цифр, констатировались «плюсы и минусы в работе», но главной, пронизывающей весь доклад идеи, воиствующей мысли не было.

Докладчик хвалил работу западного участка, хотя и обратил внимание Крамова на необходимость больше заботиться о бытовых нуждах коллектива. «На восточном же участке, — сказал докладчик, — имел место ряд общеизвестных неполадок, причиной которых явилась неопытность молодых технических кадров участка», но «теперь положение выправилось».

Людям было скучно, хотя докладчик говорил о деле, ради которого они сюда приехали, о главном на этом этапе деле их жизни. Но оттого ли, что докладчик говорил об этом деле в тех же самых выражениях и при помощи той же сотни слов, какими часто пользуются докладчики под всеми нашими широтами, или от сознания, что час, отведенный докладчику, — это еще не конец и что обязательно найдутся люди, которые без всякой необходимости выйдут к столу и, несколько перетасовывая ту же сотню слов, будут растягивать «прения», — но так или иначе собранию было скучно.

Я сидел рядом с Агафоновым на скамье у стены. Слова докладчика доходили до меня будто через вату.

Сегодня утром, встретив Светлану в штольне, я сказал ей: «Не буду выступать». Она улыбнулась и незаметно для других пожала мне руку.

Но странное дело: придя к определенному решению, я не обрел желанного спокойствия, которого так жаждал после мучительных ночей раздумий. И радость, оттого что повод, могущий усложнить мои отношения со Светланой, устранен, не ощущалась мною так сильно, как я этого ожидал.

И вот я сидел на собрании и рассеянно слушал докладчика.

Но чем больше я слушал его, чем больше старался сосредоточиться, тем сильнее росло во мне раздражение. «Почему он так скучно говорит? — думал я. — Неужели он не видит, не чувствует, что между ним и собранием — стена?»

Начались прения. Их форму и содержание определил доклад, люди говорили вяло и неинтересно.

«А я сижу и молчу, — продолжал думать я. — Мог бы поднять вопрос, важный, острый, но я молчу. Среди нас, коммунистов, есть негодяй, а я молчу. Значит, я покрываю его, становлюсь его соучастником...»

И мысли, которые я так упорно гнал от себя, снова нахлынули на меня.

Ни разу еще за последние сутки я не ощущал с такой остротой преступности моего молчания, как сейчас, на этом скучном собрании. Мне представилось: в то время как люди в этой комнате заняты своими обиденными делами, там, за окнами, начинается пожар, я один знаю об этом, знаю, но молчу.

Впрочем, я говорю сейчас полуправду. В те минуты, я ненавидел Крамова не только за его дела, я снова со всей силой ощутил в нем соперника, человека, вставшего между мной и Светланой.

После того как выступили три человека, председатель тчетно зывал к собранию — желающих говорить больше не находилось. Но по установившейся для собраний традиции число «три» означало, что прения прошли «слабо», были «скомканы», и руководителям собрания могло нагореть как за доклад, «который не содержал в себе достаточно самокритики и не обеспечил должного уровня прений», так и за организацию собрания. Надо было «доставить число выступавших до шести — восьми: с этих цифр

обычно начинались показатели «должного уровня». Но желающих выступить больше не нашлось.

И тогда председательствующий, исчерпав все варианты побуждения вроде: «Что ж, товарищи, неужели нет желающих?», «Вопрос важный, товарищи!», «Давайте говорить, товарищи!», «Неужели не о чем сказать, товарищи?» — приготовился произнести заключительную фразу: «Тогда есть такой проект решения, товарищи...»

И в этот именно момент я встал. Поднял руку и громко сказал:

— Прошу слова!

— Хватит! Закрыть прения! — крикнул из зала кто-то разочарованный в том, что близкий, казалось, конец собрания внезапно отодвигается.

Но председательствующий, довольный появлением еще одного оратора, немедленно возразил:

— Прения не закрыты. Каждый имеет право высказаться. Просим, товарищ Арефьев.

Я вышел к столу президиума и встал сбоку.

— Товарищи! — сказал я, удивляясь своему спокойствию. — Как вы знаете, я еще молодой коммунист, точнее — кандидат партии. На это собрание я пришел со своими недоумениями, сомнениями, со всем, что лежит у меня на сердце. Я хочу, товарищи, поговорить сегодня о работе западного участка.

— Восточного! — крикнул кто-то с места, полагая, очевидно, что я оговорился.

— Нет, товарищи, — сказал я, — мне хочется сейчас поговорить не о себе, не о нашем восточном участке. Речь идет о западном и главным образом о его начальнике, товарище Крамове.

В зале сразу стало тихо.

Тот неясный, но ощутимый шум приглушенных голосов, который все время стоял в зале, теперь оборвался. Должно быть, люди почувствовали, что им предстоит услышать нечто такое, к чему им необходимо определить свое личное отношение, высказаться «за» или «против». И тишина, мгновенно сменившая шум, была особенно ощутимой. Многие обернулись в сторону Крамова. Он сидел во втором ряду, на краю скамьи, с трубкой, зажатой в руке. Когда я назвал его имя, Крамов чуть откинул голову и подчеркнуто удивленно приподнял брови.

— Вам будет непонятно, товарищи, то, что я говорю, и волнение мое непонятно, если я не расскажу о своем первоначальном отношении к товарищу Крамову,— продолжал я.

Сизов поднял руку ладонью книзу, останавливая меня, и, обращаясь к собранию, добродушно сказал:

— Судя по началу, товарищ Арефьев явно не уложится в десятиминутный регламент.

Он повернул ко мне голову и спросил:

— Сколько вам нужно, товарищ Арефьев?

Почему-то его вопрос очень обидел меня.

— Я, кажется, еще не превысил регламент. Прошу не мешать! — грубо ответил я.

Сизов пожал плечами и сказал:

— Продолжайте.

Несколько мгновений я молчал, стараясь вновь обрести равновесие; это мне удалось, и я продолжал так же спокойно, как начал:

— Повторяю, товарищи: я должен все это рассказать, чтобы вы поняли, что сейчас происходит... в моей душе.

И я начал говорить о том, как я познакомился с Крамовым, как он поправился мне. Потом рассказал, как помог Крамов восточному участку при неполадках с компрессором.

— Я полюбил Николая Николаевича Крамова, он казался мне настоящим героем нашего времени, человеком переднего края, волевым, умелым, обаятельным, смелым...

— Товарищ Арефьев! — вдруг прервал меня сидевший в президиуме Фалалеев. — Вы все-таки давайте к новости дня. Ну что вы лирикой занимаетесь: «Полюбил», «разлюбил»... Крамов не девушка.

Раздался чей-то смешок.

— Прошу не перебивать меня! — снова сорвался я со своего тона. — Вы... вы мочалку жевали, товарищ начальник, а я говорю о том, что у меня на душе, в сердце!..

В зале послышался неодобрительный шум.

Сизов постучал карандашом о график.

— Простите меня, товарищи,— сказала я.

Сизов снова поднял руку.

— Товарищ Арефьев, как я и предполагал, исчерпал свой регламент, не сказав, по-видимому, главного. Лично я предлагаю продлить ему время. Товарищ Арефьев, очевидно, волнуется...

Зал молчал. Я чувствовал, что люди еще не определили своего отношения к моему выступлению. Активная нелюбовь к затянувшимся собраниям мешала им высказаться за продление срока регламента.

— Значит, продлили,— возвестил Сизов и, обращаясь ко мне, предупредил: — Старайтесь говорить покороче.

— Хорошо,— сказал я.— Так вот, товарищи, я ошибся в Крамове, и вы, видимо, ошибаетесь в нем. Он не тот человек, за кого мы его принимаем.

— Кто же он, зверь какой, что ли? — выкрикнули из зала.

— Он чужой человек,— твердо сказал я.— Он не любит людей. Посмотрите, как живут его рабочие. Барак, пары, белье постельное не у всех... Однако с рабочими он заигрывает, потому что знает: с рабочим классом у нас в стране шутить нельзя. Он посылает за курицей для большого рабочего, по здравпункта на своем участке не открывает. К чему? Ведь здравпункт, жилые дома, постельное белье не входят в показатели выполнения плана. На его участке нет коммунистов. Зачем они ему? Только мешают. Он подбирает людей с изъянами в биографии, потому что с ними проще, можно обращаться к помощи клута. Он воспитывает людей не в духе преданности делу, а в духе личной к нему преданности: кому деньги, кому клут, кому свой портрет с подписью...

Я остановился. От моего первоначального спокойствия не осталось и следа.

Атмосфера в зале накалялась.

— Он пасаждает чуждые всему советскому духу, чуждые нашему строю методы! — крикнул я.— Это не наши методы, товарищи!

— Факты! — крикнул из президиума Фалалеев.

— Факты? — переспросил я.— Я не следователь, я не проверял деятельности Крамова. Я говорю то, что чувствую, ощущаю...

Люди в зале неодобрительно зашумели. Кто-то крикнул из зала:

— Факты давай, факты!

Я растерянно смотрел в зал. Я был смущен, сбит с толку.

— Факты найдутся! — с новой силой крикнул я.— Надо только внимательнее присмотреться! А пока... пока я хочу задать товарищу Крамову два вопроса. Зачем он

послал шофера Зайцева в комбинат? И второй вопрос: какие он имеет фронтовые награды?

Потоптавшись еще несколько секунд на трибуне, я при общем молчании сошел в зал.

Теперь, когда прошло много времени, я могу более или менее спокойно рассказывать об этом собрании, посмотреть на себя со стороны. Но тогда мысли мои смешались. Я чувствовал только одно — меня не поняли, не поддержали. Провал был полный.

Когда я сошел с трибуны, слова попросил Фалалеев.

— Ну вот, — медленно начал он, опершись обеими руками о трибуну, — мы выслушали речь товарища Арефьева... если это можно назвать речью. Сумбур какой-то у товарища Арефьева получился. Вот он тут вопросы Крамову задает. А я бы ему самому задал вопросы. Кто изо дня в день давал проходку? Кто, я спрашиваю, — Арефьев или Крамов? Кто, следовательно, выполнял свой долг перед родиной — Арефьев или Крамов? Слов нет, товарищи, у Крамова имеются недостатки. Некоторое пренебрежение к вопросам быта, например. Так ведь и я его за это критиковал. Могу еще добавить: с инженерно-техническим персоналом среднего, так сказать, звена грубоват бывает товарищ Крамов. И за это мы его покритикуем. Но то, с чем выступил Арефьев, — это же, товарищи, клевет, клевета! За такую демагогию из партии исключать надо!

Он с размаху ударил ладонью по трибуне, обвел глазами зал и вернулся за стол президиума.

Я сидел рядом с Агафоновым, опустив голову. И тогда слова попросил Крамов.

При звуке его голоса я взглянул на него. Крамов спокойно поднялся на трибуну, постоял несколько мгновений и... улыбнулся. Это была так хорошо знакомая мне, ясная, открытая, синеглазая улыбка.

— Ну что ж, товарищи, — негромко начал Крамов, — сначала я должен ответить на те два вопроса, которые мне задал Андрей Арефьев.

И то, что Николай Николаевич произнес эти слова улыбаясь, и то, что он назвал меня не просто «Арефьев» и не «товарищ Арефьев», а дружески «Андрей Арефьев», сразу как-то разрядило обстановку и расположило зал к Крамову.

— Первый вопрос такой, — продолжал Николай Николаевич: — зачем я посылал шофера, который погиб при

обвале? Я понимаю Арефьева, он намекает на то, что я, следуя своей «зверской» натуре, послал человека, невзирая на предупреждение о лавинной опасности. Да, товарищи, я послал шофера, невзирая на этот приказ. У меня заболел рабочий. Сердечный приступ. А медикаменты в моей аптечке кончились. У меня не было под рукой шофера, я отпустил его накануне в поселок. Но подносчик взрывчатки Зайцев сам вызвался поехать за лекарством, спасти человека. И он поехал, потому что был настоящим советским полярником. Он погиб на посту, спасая своего товарища рабочего. Вечная ему память!

Крамов сделал выразительную паузу.

— Теперь, — он глядел прямо в зал, — второй вопрос: о наградах. Не знаю, какие уж этот вопрос преследует цели. Отвечаю: я награжден орденами Отечественной войны и Красного Знамени.

— Какую должность занимали? — выкрикнул я, подаваясь вперед.

— Служил в разных птабах, — ответил Крамов и пожал плечами. — Надеюсь, в этом факте вы не усматриваете ничего предосудительного?

Но тут на меня со всех сторон зашикали, закричали, и я снова сел, еще ниже опустив голову.

— Я не буду оправдываться, — продолжал Крамов, — потому что хорошо понимаю Андрея и чувства, которые руководили им.

— Что вы имеет в виду? — снова крикнул я.

— Сейчас объясню. Представьте себе, товарищи: приезжает на далекую и трудную стройку молодой инженер... ведь каждый из нас был молодым. Представьте себе инженера, окончившего институт с отличием, как например, наш товарищ Арефьев. Есть два типа людей: одни, окончив вуз, понимают, что заложили только фундамент знаний, что им еще надо много учиться, совершенствоваться, расти и, главное... быть скромными.

Крамов держался так, будто его не касались ни мои обвинения, ни то, что он сейчас говорил сам. Просто он давал совет, совет выдержанного, благожелательного, опытного человека.

— Но есть второй тип людей, — продолжал Крамов. — Едва окончив вуз, да к тому же с отличием, они, начитавшись келлермановских утопий, начинают воображать себя этакими мак-алламами, рожденными соединять

материки. Своего рода культ собственной личности, товарищи. А жизнь бьет по носу таких мак-алланчиков...

В зале раздался одобрительный смех.

— Жизнь не хочет считаться с их непомерными претензиями и непомерно раздутым самомнением, — продолжал Николай Николаевич. — Она немедленно заводит их в тупик. На деле оказывается, что мысленно соединить материки легче, чем установить в незнакомых условиях компрессор или произвести врезку. Но партия, родина требуют от данного товарища не утопически восторженной болтовни, а будничной, конкретной работы.

И вот настает день, когда товарищу приходится поступиться своим честолюбием, своим — я хочу назвать вещи их именами — карьеристским честолюбием и пойти за советом к простым, рядовым инженерам, которые звезд с неба не хватают, но несколько гор на своем веку пробурили. Так было в данном случае, вы сами это услышали из уст инженера Арефьева.

Ну что ж, молодой специалист пришел за советом, и старший по опыту и возрасту инженер дал ему свои советы — обычное дело! Таким это дело показалось и мне, таким на месте Арефьева показалось бы оно и девятиста девяти молодым специалистам из ста.

Но Арефьев не девятисто девять. Он один из ста! Получив советы и воспользовавшись ими, он затаил в душе злобу на советчика. Ведь он, этот советчик, стал невольным свидетелем беспомощности заполярного мак-алланчика!

Дальше — больше. Крамов дает высокие темпы проходки. Арефьев топчется на месте. Как это объяснит те девятисто девять молодых инженеров, о которых я говорил? Да очень просто! У Крамова побольше опыта, — значит, надо поучиться и догнать его... Но для одного из ста такой вывод унижен. И он выдумывает другие причины, другое объяснение.

Пусть это объяснение позорит старшего товарища, который протянул ему руку в беде. Все причины хороши, лишь бы реабилитировать свою исключительную личность, лишь бы смешать с грязью, устранить того, кто в сознании исключительной личности представляется ей конкурентом.

Я не высказываю ни возмущения, ни обиды. Я просто констатирую факты, — говорил Николай Николаевич, от-

хлебнув глоток воды из стакана. — Товарищ Арефьев молод. Он кандидат партии. Его надо воспитывать. Как — это дело парторганизации. Он зазнался. Надо с высот келлермановских утопий опустить его на трезвую советскую землю. И поскорее, пока он еще молод и поддается исправлению.

Несколько человек в зале заплодировали. Крамов спокойно сошел с трибуны.

И тогда, не прося слова и не выходя к трибуне, над столом президиума снова поднялся Фалалеев.

— Либерализм! — громко выкрикнул он. — То, что говорил здесь Крамов, — это какое-то непотребление злу! Арефьев выступил возмутительно, оболгал товарища, не погнушался демагогией, политической спекуляцией! Я предлагаю: поручить бюро разобрать персональное дело кандидата партии Арефьева и сделать прямые выводы из его антипартийного, демагогического выступления!

Он сел.

В зале поднялся невообразимый шум. Первые секунды невозможно было понять, на чьей стороне люди. Но потом стало выясняться, что подавляющее большинство сочувствует Крамову, хотя и настроено против предложения начальника управления строительства.

И вдруг весь этот шум покрыл бас молчавшего до сих пор Агафонова:

— Неправильно!

Все смолкли.

— Что именно неправильно? — опершись о стол, спросил Фалалеев.

— Насчет того, чтобы поднимать дело против Арефьева, вот что неправильно, — по-прежнему не вставая, ответил Агафонов.

— Почему? Объясните.

— Могу... — начал было Агафонов.

Но ему со всех сторон закричали:

— Встань, встань! На трибуну иди!

— Встать могу, — прогудел Агафонов, — а на трибуну незачем. — Он встал. — Тут товарищ Арефьев говорил, что он молодой коммунист. Что ж, ему это звание «молодой» пристало, да и по годам он молод. А вот я, товарищи, хоть и старый, а, выходит, еще до Арефьева не дорос, беспартийный покамест...

В зале раздался добродушный смехок, но тут же оборвался. Агафонов же, стоя у стены, продолжал:

— Вот и я думаю: может, негоже мне, «молодому», со своими мнениями вперед старых лезть, да ведь как ни говори, а лет мне под шестьдесят, жизнь прожил, людей видел, этого со счетов не скинешь... Ну, речь сейчас не об этом.

Агафонов помолчал, точно нащупывая главную нить своей речи.

— Вот двух человек вижу я,— проговорил он, оглядывая зал,— Арефьева, значит, и товарища Крамова. Трудно нам было за ним угнаться, за товарищем Крамовым. У него проходка полтора метра, у нас — метр, у нас — полтора, у него — два... Мучился наш Арефьев, видели мы это, про себя, в одиночку мучился, но не об этом сейчас речь.

Ну, он-то человек молодой, жизнь только еще пухать начал, а я воробей стреляный, тертый, обкатанный, в горах не первый год, а тоже не понимал, в чем у нас загвоздка. И вот решил я на свой, как говорится, страх и риск: пойду на западный, погляжу. Только пойду попросту, как говорится, частным образом, а то комиссиям да бригадам у нас научились пыль в глаза пускать. Обмен опытом это называется...

— Ха-ха-ха! — внезапным глухим, раскатистым смехом рассмеялся в президиуме Фалалеев. Но никто не поддерживал его смеха.

— И вот встретил я Крамова Николая Николаевича,— продолжал Агафонов,— спрашиваю: «Можно прийти умуразуму поучиться?» — «Приходи, говорит, старина, хоть сегодня вечерком». Верно я говорю, товарищ Крамов?

Крамов ничего не ответил, только кивнул.

— Пришел к порталу. Вижу, стоит Митька Дронов — мы с ним года три назад на руднике вместе бурили. Ну, увидел он меня: «Здорово, говорит, Федя, друг...» Спрашивает: за чем, мол, пожаловал? А я ему и объяснять не хотел: никудышный этот парень, Митька,— с рудника ушел, к рыбакам подался, не ужился и там, еще где-то летал... Ну, Митька пристал как лист банный. «Зайдем, говорит, в барак, зайдем, посмотришь, как живу». Ну, шут с тобой, думаю, зайдем.

Сизов постучал карандашом о графин и сказал:

— Вы все-таки ближе к делу, товарищ Агафонов...

— Дать, дать, продлить! — закричали вдруг из зала, хотя Сизов не напоминал Агафонову о регламенте.

Трудно было поверить, что кричали сейчас те же люди, что час назад с нетерпением ждали конца собрания.

— Зашли,— продолжал Агафонов, точно не слыша ни Сизова, ни криков из зала.— Вижу, народ в бараке плохо живет, постелей почти ни у кого нет... Ну, не об этом речь. Сели мы, поговорили. Думаю: что ж обижать человека, в гости ведь позвал. Вынул он поллитровку, друзей вспомнили, кто на руднике работал... ну, не устоял...

И Агафонов, разведя своими длинными руками, разом опустил их, точно бросил.

— Товарищи,— покрывая смех в зале, своим глухим сильным голосом закричал Фалалеев,— не пора ли все же кончать? Мы все понимаем: Агафонов — человек рабочий, выступать не привык, мы пошли ему навстречу, не прерывали... Но ведь у нас открытое партийное собрание, товарищ Агафонов, а ты нам какие-то пьяные байки рассказываешь!

— А у вас, товарищ начальник,— внезапно резко и даже грубо ответил Агафонов,— вся жизнь, видать, трезвенькая проходит? Херувимская?

Люди, не переставая смеяться, громко захлопали в ладоши.

— Нет, хоть я и беспартийный, а не позволю себе занимать собрание тем, что к делу не относится,— сказал Агафонов, когда зал немного успокоился.— А хочу я вам поведать, о чем только мне, старому своему знакомому, рассказал Дронов, да и то лишь после двухсот граммов. О Крамове он говорил, скрывать не буду. Как жилы тянет из рабочего класса... «А только, говорит, приказал он тебя до иголки не допускать. Чтобы не упухал там чего».

Внезапно Фалалеев ударил кулаком по столу.

— Я требую, наконец, прекратить эту клевету, этот покос на советских рабочих! Сначала Арефьев, теперь Агафонов... Дело уже не в Крамове. Дело в том, что вы клеветаете на советскую власть! Хотите уверить, что можно безнаказанно под носом партийной и профсоюзной организаций эксплуатировать рабочих!

Он замолчал, тяжело отдуваясь.

И вот в тот же момент с Агафоновым произошла внезапная и страшная перемена. Глаза его налились кровью,

руки сжались в кулаки. Он медленно, точно ничего не видя перед собой, пошел к столу президиума.

— Агафонов, товарищ Агафонов,— что вы! — испуганно заговорил Сизов, колотя стеклянной пробкой от графина по столу.

Фалалеев стал медленно клониться к спинке стула; казалось, сейчас он опрокинется вместе со стулом.

Подойди к столу, Агафонов несколько мгновений глядел в упор на начальника, потом обернулся к собранию и тихо, постепенно возвышая голос, сказал:

— Вот этими руками я душил врагов Советского государства во время войны. А он мне такое... Я шестой десяток по земле хожу, разных видал людей! Видал шкурников с партбилетом в кармане, видал героев, что вражеский пулемет грудью заслоняли, видал болтунов и хануг, видал и тех, кто за советскую власть кровь сердца своего отдавали... Видал я, знаю! В каком-нибудь колхозе, скажем, гниль завелась, люди впроголодь живут, а умники говорят: молчи, не критикуй, это, мол, поклеп на все колхозы! Начальник зарвался, заелся, на рабочих плюет, ему главное — что паверху скажут, а низы — шут с ними! Но не тронь — подрываешь единоначалие! Знаем мы таких: себя с советской властью равняют, свои безобразия основами прикрывают! А я если перед партией слово взял, то не для холуйства, вот что!

Трудно себе представить, что несколько десятков человек, сидящих в зале, могут произвести такой шум. Люди аплодировали, кричали: «Правильно! Верно! Давай Агафонович!»

— Теперь о товарище Арефьеве,— продолжал Агафонов, когда получил возможность говорить.— Я к собранию этому не готовился, не знал, что так обернется дело. Но вижу я, сердцем чувствую: прав Арефьев Андрей, прав! И еще скажу: Арефьев человек стоящий, и рабочие его любят. Всё!

И он пошел к своему месту.

Несколько минут в президиуме царил явное замешательство. Сизов, Фалалеев и секретарь собрания шепотом говорили что-то, касаясь друг друга головами. Фалалеев стучал пальцем по столу, и этот стук был хорошо слышен в зале.

Наконец Сизов встал.

— Вот что, товарищи,— негромко сказал он.— Большинство из нас не первый год в партии, на собраниях бывали не раз и знаем: иной раз выступит человек и уведет собрание в сторону...

В зале начался ропот, но Сизов заглушил его, возвысив голос:

— Очевидно, и в выступлениях Арефьева и в словах Агафонова есть какие-то элементы справедливой критики! Однако вернемся к цели нашего собрания. Мы сегодня собрались не для того, чтобы обсуждать Крамова. Никто, конечно, не может запретить коммунисту выступить с критикой другого коммуниста. Но думаю, что выступать так, как это сделал Арефьев,— с серьезнейшими политическими обвинениями, без фактов, да еще с какими-то темными намеками,— так выступать нельзя. Арефьев увлек за собой и Агафонова, которого мы знаем как отличного производственника, но который, к сожалению, еще не является зрелым человеком в политическом отношении. Если вы, товарищи, успокоите свои страсти, подогретые неверными, демагогическими, я бы сказал, заявлениями, то, трезво рассудив, увидите, что ни Арефьев, ни Агафонов, кроме ссылок на свою интуицию, на субъективно истолкованные факты да на разговор с подвыпившим человеком, никаких точных обвинений против товарища Крамова не выдвинули. А мы обязаны в разборе персональных дел соблюдать строгую законность, этому учит нас партия. Я думаю, товарищи, что мы поручим бюро заняться этим вопросом, а пока будем продолжать наше собрание спокойно и организованно, не отвлекаясь от повестки дня. Повестку помните? — Сизов заглянул в лежащий перед ним листок.— «О некоторых предварительных итогах хода строительства туннеля». Есть желающие?

— Есть! — раздался из глубины зала негромкий, так хорошо знакомый мне голос.

Я обернулся.

По проходу своей неторопливой, спокойной походкой шел к сцене Павел Харитонович Трифонов.

Я так обрадовался, что хотел броситься ему навстречу, но одумался и сел, не отрывая глаз от Трифонова.

А он поднялся на трибуну и без всякого вступления сказал, почти не повышая голоса:

— В обкоме вчера старых коммунистов собрали. Советовались по одному вопросу. Когда кончили заседать,

подошел ко мне Баулин и спрашивает: «Как этого паренька фамилия, который у вас начальником участка на туннеле?» Я сказал: «Арефьев его фамилия». — «Так вот, — говорит Баулин, — передай от меня товарищу Арефьеву, что он был прав, а я, секретарь обкома, неправ». Вот я и передаю. Слышишь меня, товарищ Арефьев?»

В зале стояла тишина, люди недоумевали, не могли понять, о чем это говорит Трифонов. Фамилию Баулина знали, конечно, все.

— Непонятно? — спросил Трифонов. — Мне тоже сперва непонятно было. А когда непонятно, положено спрашивать. Вот я и спросил: «В чем же ты был неправ, товарищ Баулин?» — «В том, что по старинке думал, — ответил он мне. — Ворвался ко мне, говорит, парень, кандидат партии, требовал помочь ему построить дома для рабочих. А я ему в ответ потацию прочел о роли планирования и тому подобное. А когда этот парень нагрубил мне и ушел, я понял, что он прав. В таких шарнях, которые дерутся за партийное, за народное дело, не считаюсь с субординацией, в таких, говорит, людях наша сила. Извинись за меня и скажи ему, что не такой уж я бюрократ...»

— Да ведь насчет домов он на другой же день дал указание! — крикнул я с места.

— Об этом мне ничего не было сказано, — не глядя в мою сторону, ответил Трифонов. И продолжал: — Теперь я хочу посоветоваться с вами, товарищи, по одному делу. Вот партия говорит нам: много есть недостатков в нашей работе. Дело мы делаем великое и сделали уже немало, а недостатки есть, и серьезные. В сельском хозяйстве, к примеру, да и на многих других участках. Газеты последние все читали. Надо их, эти недостатки, исправлять. И ЦК наш, и правительство, и все лучшие люди партии хотят их исправить. Но существуют и такие, которые не хотят. Кто они, эти люди? Враги? Агенты зарубежные? Не думаю... А только вред от них большой. Им при этих недостатках жить лучше и проще, спокойнее. Работает, скажем, такой человек председателем колхоза или — подымай выше — секретарем райкома. И живет он не для коммунизма, не для людей, которых ему доверили, а для начальства. А для начальства, для плохого начальства, что нужно? Чтобы рапорт был, чтобы процент был, чтобы показатели были, а как он наскреб эти показа-

тели — его личное дело. Только прокурору в лапы не попадайся, — отступимся.. Или вот, скажем, с низкопоклонством заграничным мы боролись. Что ж, правильная борьба! А нашлись люди, которые и эту борьбу на свой лад переиначили. День и ночь кричали: «У нас все самое лучшее, мы и есть самые лучшие, все, что не наше, — все дрянь, дерьмо!»

И легко такому крикупу жить на свете. Попробуй скажи ему: а ты, мол, знаешь, как в других странах туннели, к примеру, бурят? Про штапговые крепления, скажем, слышал? Может, и научиться чему-нибудь можно? Ух, какой визг поднимет! Скажешь ему: «Чего ж ты визжишь-то? Ведь я тебя не капитализм переиначивать ставляю, не повадки волчьих...» — «Все равно, кричит, я самый умный! Все, что я делаю, самое лучшее, самое правильное, я первейший патриот, а ты космополит, ату тебя!..»

А дело-то простое: выгодно такому типу неучем жить, хлопот меньше. А что его стапки, его машины меньше для людей добра производят, на это ему наплевать! Об этом он и не думает...

Так вот, друзья, партия с такими типами борьбу начала, все это видят. Борьбу всерьез. А типы-то хитрые. Они сейчас вместе с партией кричать начнут: «Мы за, мы вместе!» А в душе надеются: «Кампания! Очередной лозунг!.. Обойдется!..» Хотят убедить себя, что партии лозунг пущен, а не существо.

Так вот, товарищи, давайте посоветуемся, посмотрим с горки: что же здесь у нас, в этом зале, происходит? Арефьева наши рабочие знают. Поступки его все здесь, перед вами. А вот вас, товарищ Крамов, Николай Николаевич, мы знаем плохо...

С этими словами Трифонов обернулся в сторону Крамова, сидящего в первом ряду, и спросил:

— Кто вы такой, товарищ Крамов?

Николай Николаевич вскочил.

— Я член партии и советский инженер! — звонко крикнул он. — А вы... вы просто демагог! Я уважаю ваш партстаж, но протестую против ваших прокурорских впросов. Какое отношение ко мне имеет все, что вы здесь говорили?

С каждым словом Крамов терял самообладание.

— Я относился к Арефьеву как к младшему брату, как к сыну! — кричал он. — Я покрывал его техническую неграмотность! Я отхаживал его, пьяного, когда мой шофер привозил его из «шайбы», я щадил его авторитет...

Он сел задыхнувшись.

Краска бросилась мне в лицо.

— Арефьева? Пьяного? Из «шайбы»? — недоуменно переспросил Трифонов. — Это правда, Арефьев? — в первый раз повысив голос, громко спросил Трифонов. — Это правда? Это правда?

Что мог я ответить ему?

— Правда, Павел Харитонович, — тихо сказал я.

В зале поднялся шум.

— Вы кончили, товарищ Трифонов? — спросил Сизов.

Павел Харитонович немного задержался на трибуне.

Потом сказал:

— Кончил.

И сошел в зал.

— Что ж, товарищи, — бесстрастно резюмировал Сизов, — у меня есть все основания повторить свое предложение: поручить бюро заняться этим вопросом. Есть еще желающие выступить по главному вопросу повестки дня? Нет? Тогда послушаем проект решения...

В кабине трехтонки я возвращался к себе на участок. Я хорошо отдавал себе отчет в том, что произошло. Понимал, что провалился. Мое выступление, ребяческое, неаргументированное, вряд ли могло быть воспринято всерьез даже и без стараний Сизова и Фалалеева.

Но все это — и провал на собрании, и неизбежный разговор со Светланой, и предстоящее обсуждение на бюро — почему-то не мешало мне ощущать радостную приподнятость. Я с особой силой понял, что имею настоящих, верных друзей, которые видят правду и не дадут меня в обиду.

Я понял, что борьба с Крамовым не мое личное дело, что рядом со мной стоят единомышленники: сегодня Баулин, Трифонов, Агафонов, Василий Семенович с метеостанции, а завтра найдутся и другие люди, много людей... Как ни странно на первый взгляд, но после своего провала я почувствовал новую решимость драться до конца.

Мне хотелось тотчас же, немедленно поговорить с Трифоновым и Агафоновым обо всем, что произошло. Расска-

зать им об этой глупой истории с «шайбой», о том, что я знал о Крамове, но о чем молчал до сих пор, считая борьбу с этим человеком только своим личным делом. Нужны факты? Хорошо, они будут! И прежде всего факты о поведении Крамова на фронте. Я был уверен, что тот майор и Крамов одно и то же лицо. Был убежден, что Василий Семенович из чувства осторожности и по «здравому смыслу» скрыл тогда от меня настоящую фамилию майора.

У Крамова те же ордена, что и у того майора. На вопрос «Где вы служили?» — он ответил: «В разных штабах». Но начальник дивизионной разведки тоже штабная должность. Все подтверждается.

Надо немедленно вновь связаться с Василием Семеновичем. Убедившись, что мною движет не простое любопытство, он не станет дальше скрывать фамилию. В конце концов он ненавидит майора не меньше, чем я Крамова, — это можно было почувствовать, слушая рассказ Василия Семеновича.

Возвратившись на участок, я узнал, что Трифонов и Агафонов еще не вернулись из поселка. В окне Светланы виднелся свет. На мгновение точно какая-то тяжесть придавила мне плечи, но я тотчас же сбросил ее и, не заходя к Светлане, пошел в контору. Сняв трубку «лавиного телефона», соединяющего участок с метеостанцией, покрутил ручку.

С горы долго не отвечали. Наконец к телефону подошел дежурный метеостанции, и я торопливо попросил передать трубку начальнику.

— Василий Семенович, — сказал я, приближая микрофон к губам и стараясь вложить в свои слова всю силу убеждения, — как фамилия того майора? Поймите, я спрашиваю не из любопытства. Его фамилия не Васильев. Почему вы не хотите сказать правду? Никто не узнает, что эту историю рассказали мне вы, никто! Его фамилия Крамов! Ведь так? Крамов?

Несколько секунд на той стороне провода молчали.

— Крамов? — переспросил наконец Василий Семенович. — Почему Крамов? Да что случилось, в конце концов?

— Случилось то, что этот человек здесь! — громко и с отчаянием крикнул я. — Это он, Крамов, служил в разведке, у него те же ордена, сейчас он работает у нас,

на туннеле, Крамов! Средних лет, худощавый, у него синие глаза...

— Нет, Арефьев, это ошибка, — услышал я, — тот был Васильев Виктор Петрович, высокий, брюнет...

Не было никаких оснований сомневаться в правдивости слов Василия Семеновича. И так, Крамов не имел отношения к тому рассказу, ордена, звание — все это только совпадение.

— Ну, простите, Василий Семенович, — упавшим голосом сказал я.

— Да что у вас произошло?

— Потом расскажу. При встрече. Простите, что побеспокоил.

Я положил трубку, медленно повернулся к двери и... увидел Светлану. Я не слышал, как она вошла.

— Ты все-таки выступил? — глядя на меня в упор, спросила Светлана.

— Да, я выступил, — твердо ответил я, — и, кроме того, выступил псевдонимно. Крамов повернул все мои аргументы против меня самого. Будут разбирать на бюро.

— Кто же оказался прав?! — воскликнула Светлана. — Почему ты не послушался меня?

Она повернулась и вышла из конторы.

Я не пошел за Светланой. Мне нечего было сказать ей.

У себя в комнате я лег на кровать.

И вдруг я услышал торопливые шаги по коридору. Затем дверь в комнату Светланы открылась. Я лежал на кровати у тонкой дощатой стены, отделявшей наши комнаты. И я отчетливо услышал чуть приглушенный голос:

— Не зажигайте света, Светлана Алексеевна. Это я, Крамов. Сначала задерните штору. Совсем не нужно, чтобы меня видели у вас...

Сердце мое заколотилось. Послышались шаги Светланы.

— Не бегите! — настойчиво проговорил Крамов. — Я уже говорил вам как-то, что от себя нельзя убежать. Я ненадолго к вам и по важному делу. Ну, давайте я сам задерну штору... Так. Теперь можно зажечь свет.

Щелкнул выключатель. Затем я услышал, как Крамов подошел к двери и набросил крючок.

— Все это я делаю ради вас. Ни вам, ни мне сплетни не нужны. Сядьте. Вот так. Теперь о деле. Вы, может

быть, не знаете, что Арефьев только что выступил против меня с погромной речью? Но он провалился. Никто, кроме старого чудака Агафонова и демагога Трифонова, не поддержал его. Поведение Арефьева будут разбирать на бюро. Выговор ему обеспечен.

Я лежал неподвижно. Я точно прирос к постели. И мысленно повторял про себя: «Сейчас я встану, вот сейчас встану, пойду и дам ему в морду...»

— Это была речь мальчишки и склочника, — продолжал Крамов, — Арефьев плюнул мне в лицо, мне, который любил его и помогал, чем мог. Вы знаете, какие это повлечет за собой последствия?

Светлана молчала.

— Как я уже сказал, — продолжал Крамов, — он получит выговор по партийной линии. Выговор — это в лучшем случае. При переводе из кандидатов в члены партии ему это припомнят. Руководство считает его склочником. В ближайшие годы он не получит ни одного сколько-нибудь ответственного назначения. Его репутация будет подмочена даже в том случае, если я не приложу к этому никаких усилий. А я могу приложить их — и это будет только справедливо.

— Чего вы хотите от меня? — спросила Светлана.

— Чего я хочу от вас? Я знаю о ваших отношениях. Судьба Арефьева вам не безразлична. Кроме того, вам придется давать показания о том, какую помощь я оказывал вашему участку в первые недели, — вы не вправе от этого отказаться. Наконец, кое-кому может прийти в голову, что Арефьевым руководят личные мотивы, что тут замешана женщина. Я знаю, — торопливо оговорился Крамов, — вы тут ни при чем. Но вы единственная женщина на стройке. Двое мужчин, мы бывали вместе... Словом, на чужой роток не накинешь платок. Будет много сплетен, грязи, расследований. Это одна сторона дела.

Крамов шагал по комнате взад и вперед.

— Есть и другая сторона, — говорил он, — и я не скрою ее от вас. Мне все это ни к чему. Есть меткая поговорка: «Не знаю точно, он украл шубу или у него украли, но он замешан в этой грязной истории». Глупо, но метко. Мне не нужна грязная история. Мне не нужны комиссии, расследования, допросы и прочее. Обычно в таких случаях даже у ангела обнаруживают рога. А я не ангел. Туннель

скоро будет закончен, и я уеду. Мне все это ни к чему. Видите, я с вами прост и откровенен. Есть еще и третья причина, по которой вам необходимо принять немедленные меры, чтобы одернуть Арефьева, удержать его от дальнейших нелепых шагов.

Шаги смолкли. Крамов внезапно остановился и вдруг сказал:

— Я люблю вас. Люблю уже давно. Я не сплющий, не мальчишка и не стал докучать вам любовными признаниями. Но я люблю вас и теперь говорю вам об этом прямо. Может быть, момент для объяснений выбран не вполне подходящий. Но... будем выше этого.

— Уходите, Крамов, — тихо, но твердо сказала Светлана.

Но он продолжал:

— Светлана Алексеевна, я понимаю ваше состояние. Вам не до того, чтобы слушать меня. И все же я буду говорить. Вы можете не отвечать, только выслушайте. Так вот, я хорошо знаю и понимаю вас. Лучше, чем вы сами. Я слышал, что вы собираетесь связать свою жизнь с Арефьевым. Но вы этого не сделаете. Он из породы допкихотов, а вам смешно быть Дульциней. Вы земной человек. И такая, как вы есть, вы пужны мне. Мне пужна такая женщина, как вы. Я хорошо знаю, чего хочу в жизни. И вы будете мне помогать. Вы умеете быть разной — наивной, мудрой, доброй, злой. Я научу вас применять этот дар для достижения понятных, земных целей. Вдвоем мы составим силу. Кроме того, я люблю вас и знаю, что вы не обидитесь на эти слова «кроме того». Я знаю вас, но и вы — я давно почувствовал это — знаете и понимаете меня. Арефьев не пара вам, Светлана. Под грузом его благородных побуждений вы превратитесь в клячу. А со мной вам будет хорошо и просто.

— Уходите, Крамов, — повторила Светлана.

— Я сейчас уйду. Не заставляйте меня играть комическую роль искусителя. Все, что я вам говорю, вы знаете и без меня. И решение примете сами, тоже без меня. Оно уже зреет в вашей душе, я знаю. И это будет то самое решение, к которому я вас призываю. Как только вы решитесь, вам сразу станет легко. Опыт десятков поколений будет помогать вам в моем лице. Вы перестанете мучить себя. Заканчится эта все время происходящая внутри вас борьба мнимого добра с мнимым злом. Вы

вырветесь из тисков невыносимой так называемой новой морали, которую исповедует Арефьев, морали, годной для проповеди, но невозможной для жизни. Это все, что я хотел сказать, Светлана Алексеевна.

— Подождите, — удержала его Светлана. — Я тоже хочу вам кое-что ответить. Все, что вы мне сказали, я уже знала. Вы всегда мне это говорили. Всегда. Даже когда молчали. Даже когда говорили о другом. Я иногда ненавижу вас, а иногда презираю. Не знаю, что чаще. И себя я тоже презираю. За то, что слушаю вас, за то, что всегда слушаю вас, даже когда вы молчите... Сейчас мне следовало бы выгнать вас, а я слушаю. Мне до боли хочется, чтобы ваши слова возмущали меня. А я слушаю вас... Ну, теперь уходите.

— Светлана! — воскликнул Крамов, и в одном этом слове его послышались радость и торжество.

— Уходите! — громко повторила Светлана.

Крамов пошел к двери и столкнулся со мной.

Увидев его, я сказал:

— Вернитесь назад.

Он повиновался. Я вошел следом за ним и закрыл за собой дверь.

Светлана сделала шаг вперед и произнесла едва слышно:

— Андрей, прости меня. Я не могу быть твоей женой...

Я был невероятно, непонятно спокоен.

— Вы слышали это? — спросил я Крамова.

Он как-то жалко усмехнулся.

— Ну, милые браются — только тешатся. Неужели всему виной мой неожиданный приезд? Я приехал обсудить вопросы сбойки. Ведь не за горами сбойка-то, не за горами...

— Я хочу еще раз повторить вам, Крамов, что Светлана Алексеевна, которую я любил и люблю, не хочет быть моей женой.

— А почему, собственно, вы мне это говорите? — внезапно резко спросил Крамов и чуть вскинул голову.

И вдруг улыбнулся, взял меня за плечи.

— Эх, Андрей, Андрей! Не так ты ведешь себя в жизни. Недавно ты оттолкнул друга, теперь женщина оттолкнула тебя...

Я не сбросил рук Крамова со своих плеч. В ту минуту я как-то не почувствовал их. Он сам убрал руки и сел за стол между мной и Светланой.

— Я хочу сказать тебе, Андрей,— продолжал он,— поскольку ты сам вызвал меня на этот разговор. Светлана Алексеевна по-своему права, отказавши тебе. Эта женщина не для тебя, Андрей, да и ты не для нее... Когда-то, давным-давно, были заложены естественные отношения между мужчиной и женщиной: муж с дубиной отиривлялся на охоту, женщина ждала его. А ты хочешь тащить женщину с собой на охоту. По горам и кручам, через кустарники и чащи, в жару и стужу. Но не каждую это устроит. Подумай об этом, Андрей. Что до меня, я уже давно понял, что вы не пара. То, что объединило вас, было кратковременным, преходящим, по крайней мере у Светланы Алексеевны. Я давно это понял... И Светлана Алексеевна поняла это не сегодня. Только не решалась сказать. Даже себе. Ей ведь тоже нравилась эта поза женщины-охотника. Ну, а теперь естественные силы победили, реализм взял верх над наигрышем. Придется тебе с этим считаться, Андрей. Ничего не поделаешь. И с трибуны разоблачать тебе некого, не поможет!

Я поднял голову и спросил:

— Светлана, это правда?

— Наверное, правда, Андрей,— тихо ответила она.— Как бы я была счастлива, как радостно было бы мне жить, как любила бы я себя, если бы это было неправдой!

— Да! — закричал я.— Это неправда! Я понял, вот сейчас понял, что все это неправда! Светлана, ты же клеветишь на себя! Это он, он хочет подавить, принизить тебя!

Светлана печально покачала головой.

— Хорошо,— сказал я.— В таком случае у меня к тебе вопрос. Только один вопрос. Ты любишь Крамова?

Губы Светланы искривились, она чуть приподняла руку, точно защищаясь от меня.

— Вот что, Андрей,— громко проговорил Крамов,— пора прекратить эту мелодраму. Вы, романтики-человеколюбы, делаетесь самыми жестокими людьми, если вам что-нибудь не по нраву. Я не такой уж альтруист, но считаю, что женщины надо щадить.

Он подошел ко мне.

— Надо уточнить отношения, Арефьев. Принимая во внимание все происходящее, я полагаю, что в дальнейшем вы воздержитесь от кавалерийских наскоков на мою скромную персону, по крайней мере публично. При сложившейся ситуации это будет... уж очень неразумно с вашей стороны. Жестоко по отношению к Светлане Алексеевне и не на пользу вам самому. Полагаю, вы меня понимаете. Итак, договорились?

— Как я презираю вас, Крамов! — сказал я.— Вот вы стоите сейчас передо мной, а я не вижу вас, я вижу только вапе лицемерие, жестокость, трусость...

— Мальчишка!

— Нет, Крамов, нет! Я уже не мальчишка. Я уже не буду пытаться перекричать водопад. Я знаю, с кем и какими средствами надо бороться.

— Вы хотите сказать, что не принимаете моего предложения?

Я подошел к двери и сказал:

— Вон отсюда!

Крамов улыбнулся.

— Насколько я понимаю,— процедил он,— это не ваша комната. Вы тоже прогоняете меня, Светлана Алексеевна?

Светлана с ненавистью посмотрела на Крамова и вдруг, подбежав ко мне, обняла с отчаянием и силой.

— Это все неправда, неправда, Андрей, милый! — зашептала она.— Прогони его, прогони сейчас же! Я люблю тебя, только тебя. Не верь моим словам, не верь ничему, я хочу быть только с тобой...

Я с трудом разжал ее руки и в упор посмотрел в глаза Крамову.

Он передернул плечами, сделал шаг к двери, остановился, затем махнул рукой и вышел.

Проходя в дверь, он ссутулился и как-то пугливо покосился на меня, точно боялся, что я его ударю.

На другой день по участку пронеслась тревожная весть. Неожиданно возросло давление породы на деревянные крепления. Видимо, проходчики подошли к участку очень слабых, разрушенных горных пород.

Я и Светлана паходились в конторе, когда встревоженный Агафонов принес это известие.

Через несколько минут мы уже были у входа в туннель. До забоя надо было идти более полукилометра. Под ногами хлюпала просачивающаяся вода, которую не успевали откачивать насосы. Мы продвигались, инстинктивно пригибая головы, чтобы не задеть за протянутый на двухметровой высоте троллейный провод высокого напряжения. Недавно была произведена отпалка, вентиляторы продували забой, до нас доносился острый и пряный запах взрывных газов. Время от времени мы прижимались к влажной стене туннеля, пропуская вагонетки, движущиеся к забою.

Наконец мы достигли забоя. Там уже стоял Трифонов и, подняв свою лампочку, осматривал обнажившуюся после взрыва породу.

Да, положение было тревожным. Крепильщики уже торопливо подпирали свод туннеля деревянными балками.

День выдался напряженный. Все наши текущие дела отошли на задний план.

Ночь прошла спокойно. Под утро очередная отпалка установила, что опасный участок уже пройден. Бурильщики снова вступили в полосу надежных скальных пород. Очередную смену приняла Светлана, которую я предупредил, чтобы она особенно следила за уже пройденным и хорошо закрепленным участком.

Стало известно, что и на западном участке возникли серьезные трудности. При проходке показалась вода, напор которой по мере продвижения вперед все возрастал.

Испо: где-то впереди находится подземный резервуар, «аккумулятор» воды, который при очередной отпалке может вскрыться — и тогда вода хлынет в штольню.

Прошли сутки. За это время наш участок продвинулся от опасного места метров на двенадцать. К одиннадцати часам вечера я пошел в забой принимать от Светланы смену. В штольне как будто все было в порядке. Метрах в двухстах от забоя бурильщики обуривали верхнюю часть туннеля, расширяя его на полное сечение, соответствующее габаритам поезда, которому в недалеком будущем предстояло пройти туннель.

Когда Светлана уже собиралась уходить, сигналист предупредил, что сейчас будут производить отпалку. Светлане пришлось задержаться. Бурильщики в забое, как полагаются, прекратили работу, все встали к стене штольни — обычная мера предосторожности при взрывах.

Через несколько минут раздался первый взрыв, затем второй, третий... Машинально, уже по привычке, мы считали взрывы.

И вдруг после очередного взрыва все услышали вместо похожего на течение воды шуршания скатывающейся породы необычно резкий, нарастающий шум. Свет погас. В темноте раздалось шипение сжатого воздуха. И снова взрывы — теперь уже почему-то глухие, далекие.

Наконец все смолкло. Наступила непривычная, тяжелая, гнетущая тишина. Только шипел воздух. Несколько секунд мы стояли не двигаясь, прижавшись к влажной, ребристой стене штольни. Шахтерские лампочки не были включены, раньше горело электричество. Теперь все включили их. Слабый свет лампочек едва пробивал еще не осевшую бурильную пыль.

— Спокойно, товарищи, — негромко проговорил я. — Ничего страшного не произошло. Просто взрывом перебило шланги. Слыните, как шипит воздух? Я сейчас пойду и все выясню.

— Нельзя ходить, товарищ начальник, — с плохо скрытым волнением возразил сигналист.

— Почему?

— Пятьдесят шпуров заложено. А взрывов было только сорок шесть. Я точно считал.

Он был прав. Идти было нельзя. В томительном, напряженном ожидании прошло еще минут пятнадцать. Новых взрывов не последовало.

Светлана стояла рядом со мной, прижавшись к стенке. Когда раздался грохот, шипение воздуха и погас свет, она схватила меня за руку и крепко ее сжала. Только сейчас я почувствовал, что Светлана продолжает держать мою руку.

— Успокойся, — сказал я, — ничего страшного случиться не могло.

Она ничего не ответила.

Я приказал погасить лампы, и люди сразу поняли смысл моих слов: на всякий случай надо было экономить

аккумуляторы. Теперь горела только моя лампа. Она почти не рассеивала сгустившуюся тьму.

— Я пойду проверю, в чем дело, — снова заявил я. — Товарищ Трифонов пойдет со мной. Остальным сидеть у стены.

Мы двинулись к выходу. Я то гасил, то зажигал лампочку, экономя энергию. Мы шли молча в темноте и, чтобы не сбиться с пути, старались касаться ногой одного из рельсов. Наткнулись на погрузочную машину и ощупью обошли ее.

Вскоре я налетел на новое препятствие, нагнулся, чтобы убедиться, что не свернул в сторону, и нащупал рельс.

— Зажгите свет, — сказал я, повертывая выключатель своей лампы.

Трифонов тоже зажег лампу. Перед нами была стена. На мгновение сердце мое сжалось.

Мы стали обшаривать наклонную стену, раздирая себе колени об острые камни. Просвета не было. Стена оказалась сплошной. Произошел обвал. Мы, находившиеся в штольне, были отрезаны от выхода.

Я и Трифонов, не сказав друг другу ни слова, внимательно осмотрели стены участка, на котором произошел обвал. Это был тот самый опасный участок слабых пород, который причинил всем нам столько беспокойства. Очевидно, крепи не выдержали сотрясения от производимых по соседству взрывов и сдали. Разбитые столбы кое-где торчали в груды осыпавшейся породы.

Мы двинулись обратно. Пройдя метров пятьдесят, я остановился. Мы потушили свои лампочки.

— Обвал, — сказал я.

— Завалило, — спокойно согласился Трифонов.

Сердце мое колотилось, я чувствовал, что если буду говорить, то не справлюсь со своим волнением.

— Вот проклятая порода, — точно угадав мое состояние, сказал Трифонов. — То крешь, то вата.

— Как вы думаете, — негромко спросил я, — большой обвал?

— Тот слабый участок тянулся метров на пятнадцать. Если он только в своих границах обрушился, то метров пятнадцать и нужно считать.

— А может, больше?

— Всякое бывает, — уклонился от ответа Трифонов.

— Но... но что же дальше?!

Трифонов сказал, осуждая меня самим топом своих слов:

— Копать будем. Лопаты, совки... Да и на той стороне ждать не станут, пока мы задохнемся. Откопают. Дело обычное, горняцкое.

— Ну, пойдем к людям, — неуверенно проговорил я. И тогда Трифонов притянул меня к себе и сказал:

— Вот чего, парень, не забывай: ты — начальник. Люди на тебя смотрят. Держись, если горняцкую профессию себе выбрал.

Я помолчал немного, потом сказал:

— Хорошо. Спасибо, Павел Харитонович. Пошли.

Когда мы вернулись к забою, люди по-прежнему безмолвно сидели у стены. Я зажег лампу и осветил их лица.

Первым с краю сидел откатчик Авилов. Он был явно испуган, губы его полураскрылись, он с надеждой смотрел мне в рот. Рядом с ним — Нестеров, один из двух бурильщиков, с которыми я встретился, впервые приехав на участок. Лицо его было сумрачно. Видимо, он ничего хорошего не ждал от меня. Всем своим видом он говорил: «Чего там утешать, дело ясное — завалило. Не первый год в горе, понимаем».

Немного поодаль, прижавшись спиной к стене, стояла Светлана.

Я быстро скользнул по ее лицу лучом лампочки и успел заметить только широко раскрытые ее глаза. Дальше сидели у стены два бурильщика, откатчики и сигналист.

— Ну что ж, товарищи, — с преувеличенной бодростью проговорил я, — можно размяться. Предстоит работенка. Этот чертов участок в конце концов подгадил. Крепи не выдержали. Произошел небольшой... обвал.

Я говорил медленно, напизывая одну фразу на другую, желая отодвинуть как можно дальше это роковое для каждого горняка слово: «обвал». Когда я все же произнес это слово, Светлана чуть слышно вскрикнула.

— Нам предстоит, товарищи, — продолжал я, сделав вид, что не расслышал вскрика, — пробить новый маленький туннель в стене обвала. Нас, конечно, откопают много раньше, чем мы это сделаем. Но не будем сидеть сложа руки.

Мы гуськом пошли к месту обвала. Каждый подсчитывал про себя, сколько времени понадобится там, на воле, чтобы расчистить завал. С момента катастрофы прошло уже не меньше получаса. Наверняка уже вызван отряд горноспасателей. Работы, конечно, разворачиваются на полный ход...

Ход моих мыслей нарушило прикосновение руки и громкий шепот Светланы:

— Андрей... Это конец?

— Не говори ерунды, Светлана! Все будет в полном порядке,— резко ответил я.

Она замолчала.

Люди подошли к завалу.

— Стой! — командовал я. — Четверо из нас — я, Трифонов, Нестеров и Авилов — возьмут лопаты и совки и начнут работу. Мы будем прокладывать узкую штольню в завале. Остальные смотрят крепления, и там, где порода вполне надежна, подпирят их. Дерево понадобится нам, чтобы крепить проход.

Через час, работая лопатами и совками, мы прошли в стене обвала сорок сантиметров. Я тут же прикинул, что, продвигаясь такими темпами, мы пройдем за сутки метров семь с половиной. Таким образом, если предположить, что завалено пятнадцать — двадцать метров штольни, то нам потребуется более двух суток. Разумеется, если не принимать во внимание, что с той стороны пробиваются к нам товарищи. Значит, положение не такое уж страшное.

Однако оно оказалось страшнее, чем я предполагал. Во-первых, работать приходилось медленно и осторожно, потому что в завале могли обнаружиться невзорвавшиеся патроны. Во-вторых, для обеих групп — первой и той, что заготавливала крепления, — был необходим свет. Пришлось включить все лампы, и через восемь часов, когда окончился срок действия аккумуляторов, они погасли. И, наконец, мы начали ощущать недостаток кислорода.

Как ни странно, в те минуты я совершенно забыл об этой опасности. Когда мне стало трудно дышать и в висках застучало, я даже не обратил на это внимания.

Угрозу удущья я понял только после того, как шум работы стал затихать и рабочие один за другим выпускали

лопаты из рук. Скоро стало совсем тихо, слышалось только частое и шумное дыхание людей.

Да, работу следовало прекратить немедленно. В работе человеку кислорода нужно больше, чем в бездеятельности. Это было ужасно, это было отвратительно знать: для того чтобы выжить, надо напряженно работать, а вместе с тем работать нельзя, невозможно...

И вот, пройдя за восемь часов немного больше трех метров завала, мы были вынуждены сложить оружие и в темноте, оступая, вернуться на то место, на котором впервые услышали грохот обрушившейся породы.

Все молчали.

Только не упасть духом, не расгаться, не показать людям, как я волнуюсь!.. С большим трудом мне удалось взять себя в руки.

— Товарищи, — сказал я, — придется ждать. Надо экономить силы. Может быть, отдохнув, мы сможем продолжать работу. Я уж не говорю, что за это время нас, возможно, откачают. А пока будем отдыхать... Старайтесь меньше разговаривать и двигаться.

Снова наступила тишина. Только сжатый воздух шипел где-то по-прежнему. Но вдруг и шипение прекратилось.

— Что это?! — тревожно воскликнула Светлана. — Вы слышите? Еще обвал... Он перебил и этот планг...

— Нет, — громко сказал я, — это снаружи выключили компрессор, хотя как-нибудь дать знать, что о нас помнят.

Я оказался прав. Через минуту шипение послышалось снова и потом несколько раз прекращалось и возобновлялось через ровные промежутки.

Я сидел с Трифоновым вплотную, касаясь его тела. И это ощущение близости с Павлом Харитоновичем помогало мне сохранять хотя бы внешнее спокойствие.

— Послушай, — тихо проговорил Трифонов, — что это за история с пьянкой, о которой заявил Крамов?

Вопрос его был столь неожиданным в этой обстановке, что я вздрогнул. После собрания прошли сутки, и мы провели их в напряженном труде, в тревоге. Не было времени поговорить обо всем, что произошло на собрании.

Задай мне этот вопрос Трифонов там, на воле, мне стало бы стыдно. Но теперь его слова даже обрадовали меня — они возвращали к естественной, обычной жизни.

Я вислголосо рассказал ему, как попал в «шайбу» и как оказался у Крамова.

— Почему ж ты не объяснил это на собрании? — спросил Трифонов.

Я пожал плечами.

— Как? Что я мог объяснить? Ведь факт-то имел место?..

— Вот что, — сказал Павел Харитонович, поезжай завтра в обком к Баулину. Он тебя хорошо помнит. Расскажи о всех своих сомнениях насчет этого Крамова.

— Завтра?! — воскликнула вдруг Светлана и повторила с горькой усмешкой: — Завтра?!

— Ну, послезавтра, — спокойно ответил Трифонов.

Дышать становилось все труднее. В висках стучало, появился звон в ушах. Мне ничего не хотелось — ни говорить, ни двигаться. Губы мои пересохли. С большим трудом я повернулся и прикоснулся лбом к холодной и влажной стене штольни. И в этот момент услышал срывающийся шепот Светланы:

— Андрей, мне плохо...

— Светлана, милая, потерпи, — также шепотом ответил я. — Скоро нас обязательно откопают...

— Может быть... но мы уже будем мертвы.

— Тш-ш!.. Не смей так говорить, — чуть повышая голос, сказал я. — Как тебе не стыдно! Я уверен, с той стороны прошли уже не меньше половины завала.

— Ты уверен, ты уверен! — горько повторила Светлана.

Она помолчала немного.

— Андрей, мне нечем дышать, — снова услышал я ее шепот.

Я понимал, что ей очень худо. Она не просто боялась, не просто была растерянна, — ей действительно было очень трудно дышать.

— Светлана, родная, потерпи! — просящим тоном, торопливо сказал я. — Ты привыкнешь — и сразу станет лучше...

— Нет, Андрей, нет, мы не выйдем отсюда, я знаю...

— Инженер Одинцова, перестаньте говорить глупости! — неожиданно для самого себя в полный голос оборвал я ее.

Светлана замолчала.

Где-то мерно и тяжело капала вода.

— Вот что, — внезапно громко заявил Трифонов, — надо работать!

— Мышиная возня! — отозвалась Светлана. — Совками и лопатами пройти многометровый обвал? Или нас откопают, или все мы...

— Бросьте! — грубо оборвал ее бурильщик Нестеров. — Вы, барышня, не поц, и хоронить нас рано. Пошли!

Он встал, взял лопату и медленно пошел, волоча ее за собой. Поднялись и остальные. Только Светлана и откатчик Авилов не шевельнулись.

Я встал, подошел к Авилову и осветил его едва горящей лампочкой. Парень тяжело дышал. Губы покрылись белым налетом. На лице выступил пот.

— Авилов, послушай, — сказал я, наклоняясь к нему, — постарайся встать. Надо идти, работать надо, пробиваться отсюда.

— Не выйдем, — точно выдыхая слова, произнес он.

— Выйдем! Я тебе говорю, выйдем! Разве я когда-нибудь обманывал тебя? Не слушай Одинцову, мы выйдем! Нам всем надо выйти, всех нас ждут важные дела. Чтобы вот так, без боя, сдать?! Вставай...

И Авилов медленно, пошатываясь, встал.

Все, кроме Светланы, пошли к месту обвала.

Мы снова приступили к работе.

Копали молча, упорно и сосредоточенно. В наших движениях не было беспорядочности обреченных людей, ищущих забытья в бесполезной деятельности. Но люди работали медленно, очень медленно.

И мне на мгновение показалось, что и не было никакого обвала, что в штольне происходит каждодневная, будничная работа людей, решивших как можно скорее прорубить туннель, обогнать западный участок, получить право на сбойку...

Тяжело дыша, мы толкали друг друга; лопаты со звоном сталкивались, высекали искры. Не знаю, сколько времени мы работали так, — час, три, восемь...

Когда обессиленные, измученные люди прекратили наконец работу, в завале образовался узкий коридор.

Из последних сил мы закрепили его деревянными подпорками и пошли к забою отдохнуть хоть немного.

— Светлана! — окликнул я, когда мы вернулись.

Она не ответила. Шаря в темноте, я нащупал ее плечо и склонился над ней.

— Мы прошли очень много, метров пять, не меньше. Отдохнем и опять будем копать.

Она не ответила. Я слышал ее тяжелое дыхание. Ни у кого не было сил говорить.

Внезапно послышался треск ломающегося дерева и резкий шум осыпающейся породы.

Мы инстинктивно прижались к стенам. Шум прекратился.

— Что это? — слабым голосом спросила Светлана.

Трифонов встал. В темноте были слышны его удаляющиеся шаркающие шаги. Вернувшись, он прошептал мне на ухо:

— Все завалило. Подпорки не выдержали.

Я торопливо сжал руку Трифонову: «Тише!» Только бы не услышали люди!

Я с трудом поднялся и двинулся к месту обвала. В прошлый раз от забоя до завала было шагов тридцать пять. Теперь я не прошел и тридцати, как мои вытянутые вперед руки уткнулись в стену. Новый обвал не только уничтожил все результаты нашей недавней мучительной работы — обвалилась и ближняя часть породы, которую я считал твердой и устойчивой. Стена, отделявшая нас от внешнего мира, увеличилась еще на несколько метров.

Меня охватило отчаяние. Я шарил по стене, рая руки об острые уступы породы. Обшарил ее всю, сверху допизу, вдоль и поперек, с тайной надеждой, что стена не сплошная. В другое время эта надежда показалась бы мне нелепой. Потом я прижал к породе ухо. Но ни звука не доносилось с той стороны, только ручеек журчал где-то в темноте.

Я поплелся назад, шел наобум, наткнулся на стены, царапал лицо, руки...

Шел и думал только об одном: как сказать людям о новой катастрофе? На полпути слышала хлюпанье шагов и звон волочащихся по земле лопат и ломов.

«Они идут, ничего не подозревая, — подумал я. — Дойдут до стены и узнают то, что знаю я. Они лишатся последних сил... Что делать?»

Меня знобило. Я дрожал от удушья, сырости, усталости, от сознания новой катастрофы.

— Товарищи, не ходите, отдыхайте, — прохрипел я, столкнувшись с рабочими.

— Ладно, Андрей, — донесся до меня сдавленный голос Трифонова, — люди уже знают, правду не скроешь...

— Так куда же вы идете?

— Работать. Мы не крысы, чтобы подыхать без борьбы. Пробываться будем. И с той стороны копают, врешь, копают! Не бывало такого, чтобы свои своим не помогли! — точно с угрозой и вызовом кому-то произнес он.

Я стал дышать свободнее. Уверенность людей в том, что они «пробьются», в том, что никогда не оставят их без помощи, передалась и мне.

Именно в эту минуту ощутил я, как прекрасна жизнь там, на земле, и как невозможна, нелепа мысль о том, что ее придется потерять.

— Все здесь? — спросил я.

— Все, — ответил Трифонов. — Только Светлана Алексеевна осталась. Трудно ей...

— Идите, я сейчас вернусь к вам, — сказал я.

Мы разошлись.

— Света, как ты? — позвал я Светлану, дойдя до забоя.

— Это ты, Андрей? — слабо откликнулась она. — Сядь, побудь со мной... Я все знаю...

Она полулежала, прислонясь спиной к мокрой каменной стене.

— Света, ничего страшного не произошло. Просто мы плохо закрепили, и крепи не выдержали. Какую роль могут играть лишние два-три метра? Чепуха! По моим подсчетам, с той стороны уже прошли больше половины завала. Я уверен...

— Андрей, прости меня, — прервала меня Светлана, — я все понимаю. Ты хороший, сильный. Но зачем ты обманул меня?..

Руки ее были холодны, как камень, на котором она лежала.

— Светлана! — воскликнул я. — Что ты говоришь? Какой обман? Ну, может быть, не три метра, а четыре, но какое это может иметь значение?

— Я не о том, милый, нет, не о том! — задыхаясь, бормотала Светлана. — Ты заставил меня поверить, что я не такая, как есть. А я такая... Ох, как болит голова!

— Светлана, перестань, прошу тебя, сейчас же перестань, — сказал я, чувствуя, что выдержка начинает изменять мне.

— Солнца, солнца хочу! — продолжала Светлана. — Это только для обмана бывает здесь полярный день. Он кажется бесконечным... А за ним вот эта ночь. А за ней — каменный мешок. И все...

— Светлана, послушай меня! — с отчаянием проговорил я. — Если ты хоть немного веришь мне, то слушай. Я говорю тебе, я клянусь тебе — мы выйдем отсюда. Ты слышишь: выйдем!

— Да? Это правда? Милый, ты действительно веришь? Это не только для меня? Не только для них? Ты веришь?

— Знаю и верю!

— Как хорошо! Вот и голова немного меньше болит. Слушай, Андрей, любимый, дай мне слово... Вот сейчас дай мне честное слово...

— Какое, в чем?!

— Если мы выйдем, пусть все будет иначе. Уедем от этой ночи. Уедем к солнцу... не надо этих туннелей... Наши лучшие годы... И я буду любить тебя всегда... всегда!..

Она замолчала. Только слышно было, как где-то тяжелыми каплями падает вода: кап... кап... кап...

Нас откопали через шестнадцать часов. И в течение всего этого времени мы продолжали свою страшную работу в крошечной тьме.

Только в последний час, когда стрекот отбойных молотков с внешней стороны слышался уже совсем близко, мы бросили лопаты и ломы. У нас уже не было сил. Мы лежали вдоль стен, и каждый вздох раздирает нам грудь, точно мы вдыхали кучу иголок.

И вот из темноты проник к нам узкий пучок света. Мелькнул и погас. И все же этого мига было достаточно, чтобы все почувствовали прилив сил, поднялись и схватились за лопаты. В этом уже не было смысла. Люди сделали это, вероятно, из подсознательного желания встретить спасителей на посту, с оружием в руках.

А затем... затем стук молотков превратился в оглушительный гром, зашуршала осыхающаяся порода, и светлое узкое отверстие, точно одним ударом прорубленное окно, возникло перед нами.

— Кто живой, отзовись! — крикнули с той стороны.

Потом в окно пролез, на мгновение заслонив своим туловищем свет ламп, человек. Он бросился ко мне и схватил меня в объятия. Следом за ним пролезли другие люди, в штольпе стало светло, и тогда и я и все увидели, что человек, обнявший меня, — Николай Николаевич Крамов.

Обвал повлек за собой ряд последствий.

Во-первых, окончательная расчистка породы, естественно, снизила темпы проходки.

Во-вторых, конфликт мой с Крамовым как-то отошел на задний план, стухевался.

Психологически этому способствовало и то обстоятельство, что Крамов первым ворвался к нам, замурованным в туннеле, и выглядел теперь самоотверженным спасителем своего врага.

Кроме того, стало известно, что в тот момент, когда Крамов обнимал меня, на западном участке произошла авария. Вода из подземного аккумулятора все же прорвалась в штольну, четыре насоса не справились с откачкой, начальник смены едва не утонул, а участок на пять дней вышел из строя.

Все это, вместе взятое, заставило нас забыть о бурном партийном собрании. Сизов не вспоминал о своем намерении обсуждать мое выступление на бюро, Крамов ходил в роли «спасителя», приветливо держался со мной, и мне в данной ситуации ничего не оставалось, как отвечать ему тем же.

Таким образом, отношения наши с Крамовым внешне как бы восстановились: для меня не прошло бесследным то обстоятельство, что Крамов был первым человеком, пробившимся к нам во время обвала.

Светлана несколько дней не могла оправиться от перенесенного потрясения и лежала в постели.

Казалось, ею овладела полная апатия, равнодушие ко всему.

Я по несколько раз в день забегал проведать ее.

Но Светлана точно не замечала меня. За эти дни она ни разу не посмотрела мне в глаза, точно стыдясь чего-то. Крамов приезжал навестить Светлану раза два,

привозил конфеты. Он разговаривал со мной так, будто все случившееся между нами было неленым и печальным недоразумением, но теперь оно забыто и мы по-прежнему друзья. Он даже пригласил Светлану и меня на свой день рождения, который собирался отпраздновать на следующей неделе, в воскресенье.

Прошло несколько дней. Проходка на обоих участках возобновилась в полном объеме и шла с еще большим напряжением; людям хотелось наверстать упущенное. Светлана поправилась и вышла на работу.

В воскресный день вечером я зашел к Светлане. Но комната ее была заперта. На участке ее тоже не было.

Начиналась метель, одна из тех жестоких метелей, которые предшествуют здесь наступлению весны.

Было уже поздно, когда в мою комнату зашел Агафонов.

— Забыл передать, — сказал он. — Светлана Алексеевна просила сказать, что сегодня на участке не будет. — И добавил уже от себя: — Наверно, в поселок за покупками поехала...

Почему-то это сообщение встревожило меня.

— Останься, Агафоныч, посиди немного, — попросил я.

Агафонов молча снял полушубок и присел у стола.

— Я беспокоюсь, не застала ли Одишцову метель на дороге, — сказал я.

— А что с ней случится? — спокойно ответил Агафонов. — На крайний случай переночует в поселке, в комбинатской гостинице.

Я ничего не ответил. Ветер за стеной завывал все сильнее.

— Федор Иванович, — не глядя на Агафонову, сказал я, — у Крамова сегодня день рождения. Он и меня приглашал.

— Правильно сделал, что не пошел, — сказал Агафонов. — Он теперь овечью шкуру надел, а зуб на тебя по-прежнему имеет.

Я стал бродить от стены к стене.

— Кажется, дверь хлопнула?! — воскликнул я, оставившись.

Нет, это ветер.

— Не поедет она в метель такую, заночует, — как бы про себя проговорил Агафонов.

Я повернулся, подошел к столу и сел против Федора Ивановича.

— Поговорим о чем-нибудь, Агафоныч, если не торопишься. Спать не хочется, и одному быть не хочется. Поговорим?

— Что ж, поговорим.

Мы помолчали.

— О чем же говорить будем? — спросил Агафонов. — О проходке?

— Шутишь, Агафоныч, — угрюмо сказал я. — Давай лучше поговорим о жизни...

— Жизнь — штука большая. С одного раза ее не укусишь.

— Да, ты прав, Агафоныч. Вот по годам я еще молодой, а и для меня открылся новый мир. В этом мире я родился и вырос, и все-таки он сейчас для меня другой, новый... В чем труднее, больше плохих людей, чем я думал раньше, но зато и хорошие хороши не отвлеченно, а так хороши, как я и представить себе раньше не мог. Здесь больше горестей, но зато и радости настоящие. Вот сейчас, Агафоныч, мне горько, плохо мне...

— Со Светланой не ладится? — вдруг спросил Агафонов.

— Она у Крамова! — внезапно вырвалось у меня.

Агафонов медленно поднялся.

— Она у Крамова, — повторил я, — и я не могу, не имею права, не хочу ее там оставить.

Я бросился к вешалке и сорвал полушубок.

— Повесь! — сурово приказал Агафонов. — Ты что, в уме? Куда ты пойдешь в метель?

— Я пойду, Агафонов! — крикнул я. — Мне наплевать на все — на Крамова, на гордость! Я не имею права оставить ее там! Я люблю ее, понимаешь, люблю!

И я выбежал из дома. По тускло освещенной площадке пронеслись снежные смерчи. Они возникали где-то на грани света и тьмы и, кружась на ходу, все увеличиваясь в размерах, наперегонки мчались по площадке и сливались за ее пределами со сплошной стеной снега...

Ветер нес с гор сплошные снежные тучи. Дорога на возвышенностях, открытых ветру, была сравнительно проходима, но в низинах я проваливался в сугробы. Иногда приходилось руками разгребать снег.

Я вскоре вспотел, потом одежда на мне обледенела. Я то полз, то шел боком к ветру, прижимался к земле и как бы «подлезал» под стену ветра и снега. Только бы дойти!

Наконец показались огни западного участка. Мимо меня пронеслись какие-то ящики, гонимые ветром, прогрохотал сорванный лист железа. По площадке так же, как на восточном участке, мчались наперегонки длинные, точно на ходулях, скелетообразные снежные смерчи. Казалось, они бегут мне навстречу, чтобы ослепить, сбить с ног.

Я сразу повернул к домику, где жил Крамов, и с силой рванул дверь.

За длинным столом, уставленным пустыми бутылками и тарелками с остатками еды, у самого конца его сидели Крамов и Светлана. Крамов медленно приподнялся. Он был изрядно пьян.

— Ну, — чуть заикаясь, пробормотал он, — лучше поздно, чем никогда... Гости уже разошлись, н-но, отпустить Светлану Алексеевну в такую метель я н-не имел права...

Светлана при моем появлении не шевельнулась. Глаза ее были широко открыты, в них застыли испуг и удивление.

— Ну что же ты стоишь? — овладевая собой и приветливо улыбаясь, продолжал Крамов. — Тебя, как видно, задержала метель? Но...

Он стал брать со стола бутылки и разглядывать их на свет.

— Но выпить в этом доме еще найдется! — И он вытянул обе руки, приглашая меня к столу.

Я продолжал стоять, прислонившись к дверной притолоке.

— Пойдем, Светлана, — сказал я.

Услышав свое имя, она очнулась и подбежала ко мне, торопливо говоря на ходу:

— Ну разденься же, Андрей, ты же замерз, ну разденься, я прошу тебя...

И стала вытирать мое лицо, мокрое от снега, и расстегивать полушубок. Крамов, чуть покачиваясь, с прощесским любопытством следил за нами.

Неожиданно тонким голосом Крамов крикнул:

— Может, ты ревнуешь? Это же глупо! Я пригласил вас обоих, Светлана Алексеевна пришла. Ты опоздал. Я не в обиде. Садись, будем пить...

Пошатываясь, он пошел ко мне, но остановился на полпути.

— Волноваться не к чему, — сказал он тихим голосом, — она не любит меня. Это странно. Мне казалось, что она должна полюбить меня. Но факты — упрямая вещь...

Он передернул плечами.

— Но я люблю ее, и ты знаешь об этом. Я любил ее уже прошлым летом, помнишь, мы возвращались с озера? Уже тогда я любил ее. И когда ты прошел свои первые сто метров штольни и мы возвращались с тобой после вечера, проведенного втроем, помнишь?.. Мы стояли на дороге, и ты соловьем разливался о своих чувствах к Светлане. Ты обиделся тогда на мое молчание, помнишь? А я уже тогда ненавидел тебя, мальчишку... Вот и все, что я хочу сказать. Ясно?

Он круто повернулся и отошел к стене. Несколько секунд он стоял спиной ко мне. Потом повернулся. На его лице снова играла пьяная улыбка.

— Ре-евнуешь! — хитро подмигивая, сказал он и угрозил мне пальцем. — Что ж, это хоть и бессмысленно, но закономерно. Так сказать, пережиток капиталистических отношений... Любовь, любовь! Эх, что вы понимаете в этом деле, дети! Любовь — это искусство. Мы утерли его секрет, как художники утерли секрет состава красок, которыми писал Леонардо. Нам все казалось, что любить так, как любили раньше, неправильно. Буржуазный брак, дескать, унижает женщину. Положение любовницы оскорбительно. Изменять жене нельзя, н-ни б-боже мой! Измена влечет за собой обсуждение и оргвыводы. Мы оказали любовь, мы все время хотели ее «улучшить» и, подобно крысам, до смерти зализывающим своих крысят, убили ее. Подай нам чистую, ди-стил-ли-рованную любовь! А от нее скучно. И мужчине и женщине. Теперь мужчина не бьет женщину, у него отнят этот «последний довод короля», не платит ей денег за минуты наслаждения, продолжает жить с ней, надоевшей и опостылевшей, боясь уйти к другой, любимой, из боязни общественной кары. И что же? Женщины стали во сто крат счастливее, чем прежде? Мужчины тоже? Нет, друзья, есть какая-то первооснова любви, игнорировать которую опасно. Впрочем, — чуть

усмехнувшись, закончил он,— все несчастья происходят от несовершенства нашей природы. Не успевают она перестраиваться. Производительные силы и производственные отношения! Старый вопрос. Что ж, будем ждать, Андрей?

— Одевайся! — сказал я Светлане. — Немедленно одевайся!

Она стояла растерянная, комкая в руке платок, которым только что вытирала свое лицо.

Крамов пристально смотрел на Светлану. Она испуганно прижалась к стене.

Внезапно я резко повернулся и шагнул к двери.

— Андрей, куда ты? — жалобным голосом крикнула Светлана.

Я не ответил, не обернулся. Только выйдя из дому, я остановился и несколько минут глядел на дверь.

Но она не открылась...

17

Вечером, когда я и маркшейдер сидели в конторе, обсуждая результаты проходки, в контору вошел Хомяков, сменный инженер западного участка.

После того дня, когда мне довелось присутствовать при разное, который Крамов учинил Хомякову, я редко встречался с инженером. Он производил на меня странное впечатление подчеркнутой скромностью, небрежностью в одежде и глуховатым голосом.

На этот раз Хомяков был чем-то сильно взволнован. Поверх ватника он надел брезентовый плащ с поднятым капюшоном, почти скрывающим его маленькую круглую голову.

— Что случилось, товарищ Хомяков? На участке что-нибудь? — настороженно спросил я.

Хомяков откинул капюшон.

— Нет. — медленно ответил он. — Я пришел к вам с просьбой, товарищ Арефьев.

Я решил, что Хомяков пришел просить планги, буриль или что-нибудь в этом роде. Но он, помолчав, сказал:

— Личное дело...

И покосился на сидящего у стола маркшейдера. Тот вышел.

190

Хомяков подождал, пока за маркшейдером закрылась дверь.

— Товарищ Арефьев, возьмите меня к себе.

Видимо заметив недоумение на моем лице, он поспешно добавил:

— Кем угодно! Инженером, маркшейдером, мастером наконец.

Это было удивительно. Я всегда считал Хомякова одним из самых робких и безропотных подчиненных Крамова.

— Присядьте, товарищ Хомяков, и снимите плащ, — попросил я.

Но плащ он не снял.

— Я бросил свою смену, — тихо сказал он, садясь на табуретку. — Бросил и пошел к вам. Не могу больше работать с Крамовым, не могу! Я не честолюбец, слава мне не нужна, пусть он забирает ее, но я человек; человек, а не половая тряпка, о которую каждый может вытирать ноги...

Обычно Хомяков говорил тихо, точно боясь собственного голоса, а сейчас то и дело повышал тон и отдельные слова выкрикивал.

— Но что же у вас произошло?

— Я презираю себя, презираю за то, что почти год терпел, подчинялся, молчал... Я боялся. А чего мне бояться? — выкрикнул он. — Я построил пятнадцать туннелей за свою жизнь, я честный человек! — И закончил с недоумением: — А все-таки робел...

— Послушайте, товарищ Хомяков, мне что-то непонятно. Судя по всему, вы поругались с Крамовым?

— Нет! Не поругался! Я восстал против него! Я возмутился наконец!

— Допустим, но все же разобраться в том, что вы говорите, мне трудно.

— Хорошо, я постараюсь рассказать связно. Видите ли, я не выполнил указания Крамова о переводе одного бурильщика моей смены в другую. Это один из лучших бурильщиков. И тогда Крамов при всех сказал, что, если повторится что-либо подобное, он выпырнет меня со строительства... Тогда я бросил смену и ушел. Но дело не в этом! Дело в том, что я не могу больше служить под начальством этого типа. Он жестокий, безжалостный человек!

191

— А мне припоминается, как он собрал всю мебель в конторе и передал ее рабочим, которым сидеть было не на чем,— со злой горечью усмехнулся я.

— Игра! — воскликнул Хомяков.— Подлая игра! На другой же день мебель перенесли обратно в контору: служащим-то тоже не на чем было сидеть! Я знаю, знаю случай, о котором вы говорите! У рабочего была вечеринка, и Крамову важно было произвести эффект. На людях, понимаете? А потом мебель водворили на старое место, будьте покойны... Вы думаете, он в интересах дела помог вам установить компрессор и врезку сделать? Черта с два! Для статьи в газете он вам помогал, и корреспондента он же подослал: знал, что вы расхвалите его, крамовские, методы! И так во всем, во всем...

Хомяков не мог усидеть на месте. Ненависть к Крамову полностью овладела им. Он был одержим одной страстью — разоблачить, унижить Крамова.

— Вы ведь знаете, что вашего Агафонова напоили пьяным по крамовскому же приказу? Крамов при мне вызвал Дронова и говорит: «Тут Агафонов с восточного придет, под нормы наши подбирается. Для себя дурацкие нормы установили, теперь хотят, чтобы и у нас заработок упал». Дронов и подстерег Агафонова. Это вспышконец-то! — кричал Хомяков.— Но иногда его игра стоит людям жизни. Ведь это он убил Зайцева!..

— Какие у вас основания говорить так?

— Есть, есть основания! Я знаю, он послал шопера на телеграф, чтобы передать в министерство рапорт о выполнении двух третей строительных работ. Послал, не считаясь с опасностью обвала. Это я составлял текст телеграммы, а через день пришло поздравление министерства. Разве не читали в газете? Крамову — благодарность, а Зайцеву...

Хомяков в каком-то мстительном упоении выворачивал Крамова наизнанку:

— А вас он побаивается, Арефьев, побаивается! Когда на вашем участке случился обвал, Крамов приказал мне не отходить от телефона и каждый час информировать его о том, как идут спасательные работы. Сам-то он у себя в штольне был — помните с водой историю? А тут, как только я сообщил ему, что до вас метра три всего осталось, бросил штольню, помчался к вам... Как же, я «первый спаситель», ему до зарезу было необходимо на людях

вас «спасти». Ну, а нас в это время затошнило: начальник, которому не положено в такие часы покидать забой, бросил все и побежал на соседний участок спасательные демонстрация устраивать.

— Слушайте,— оборвал я Хомякова,— то, о чем вы рассказываете, почти уголовщина. И говорить об этом вы обязаны не здесь. Если вы честный человек, то сейчас же поедете со мной в комбинат.

Хомяков как-то весь обмяк. Его маленькая голова ушла в плечи.

— Да, да... вы правы... правы, конечно,— пробормотал он и стал застегивать свой покоробленный плащ.— Я сейчас пойду, пойду в комбинат... один... завтра пойду. Все продумаю и пойду...

Он надвинул капюшон на голову и вышел тяжелой, шаркающей походкой.

...Рано утром дежурный по участку принял телефонограмму: приказ начальника управления строительства комбината.

Вот что в нем говорилось:

«Коллектив Туннельстроя переживает сейчас напряженные дни. Предстоит сбойка — завершение главных, наиболее ответственных и трудоемких работ по сооружению туннеля.

В эти решающие дни от каждого рабочего, техника, инженера требуется максимальная дисциплинированность, собранность и четкость действий.

Однако смелый инженер западного участка Хомяков Т. В. допустил возмутительное нарушение трудовой социалистической дисциплины, демонстративно не выполнил указания начальника участка, а в ответ на его справедливое замечание бросил смену, дезертировал из забоя.

Решительно осуждая подобные, направленные на срыв работы, действия, приказываю:

Инженера Хомякова Т. В. с работы снять и направить в распоряжение управления кадров министерства».

Все стало ясно, когда я прочитал этот приказ. Конечно, Крамсу, имея такие козыри, как факт невыполнения Хомяковым распоряжения и, главное, его самовольный уход с производства, немедленно поехал в комбинат.

Он отлично понимал, что довел Хомякова до точки, а в таком состоянии этот слишком много знающий о нем инженер стал опасен.

Поэтому Крамов поторопился с приказом.

Теперь Хомяков попал в положение обвиняемого. Прежде чем разоблачать Крамова, ему придется оправдываться самому.

К тому же Крамов позаботился, чтобы вообще убрать Хомякова отсюда. В приказе сказано: «Направить в распоряжение управления кадров министерства». Теперь, конечно, он скажет Хомякову: «Молчи — и тогда увезешь с собой приличную характеристику. Иначе тебе никогда не встать на ноги».

На деле оказалось, что темпы Крамова превзошли все мои предположения. Стало известно, что Хомяков уезжает в Москву уже на следующий день.

Я кинулся на станцию. Стокилометровый путь я проделал на трехтонке за два часа. До прихода московского поезда оставалось пятнадцать минут. Я сразу увидел Хомякова — он сидел на чемодане в самом конце перрона.

Увидев меня, Хомяков явно смутился, покраснел и взглянул на часы.

Я не стал терять времени.

— Как же вы можете так уехать, товарищ Хомяков, — воскликнул я, — уехать, не доведя дело до конца, не разоблачив Крамова?!

Лицо Хомякова болезненно передернулось. Он огляделся.

Потом он сказал едва слышно:

— Что я могу сделать? К тому же я и сам виноват... дисциплина есть дисциплина...

— Послушайте, Трофим Викторович, — я постарался вложить в свой голос всю силу убеждения, на какую был способен, — неужели вы не понимаете, что речь идет о большем, чем ваш дисциплинарный проступок? Неужели вам не ясно, что в другое время Крамов просто использовал бы ваш проступок, чтобы окончательно зажать, подчинить вас? А теперь он боится вас, боится разоблачений, может быть, даже знает, что вы были у меня.

— Может быть, может быть... — невнятно повторил Хомяков. — Но теперь все это уже в прошлом: я уезжаю.

— Но вы не можете, не имеете права уехать, не выполнив своего гражданского долга! Подумайте! Встряхнитесь! Ведь вы же честный, знающий инженер, а вашу судьбу ломает какой-то авантюрист! Отложите свой отъезд. Хотя бы на три дня. На день!

— Вы правы, — тихо сказал Хомяков. — Я поступаю сейчас как трус. Мне... мне мерзко сознавать это. Но я старый человек и... видно, давно уже растерял все качества борца.

Но вдруг он схватил меня за руку, притянул к себе и заговорил быстрым шепотом:

— Послушайте меня, Арефьев, не связывайтесь с Крамовым. Он сломает вашу жизнь, искалечит ваши лучшие годы. Сойдите с его дороги!

— И пусть он гадит?! — воскликнул я.

— Он скоро уедет. У него друзья в министерстве. Он приехал на туннель, чтобы заполнить нужную страницу в своей биографии. И скоро уедет в Москву, будет работать в главке... Поверьте, он с лихвой окупит все издержки, которые понес в этих диких местах. Вот будет сбойка и...

Раздался паровозный гудок. Поезд приближался.

Хомяков схватил свой чемодан и побежал навстречу поезду. Через минуту он скрылся в вагоне.

Май — первый весенний месяц в наших местах. Зимние муссонные ветры сменяются летними, начинают таять снега. Но ледяные ветры еще не ослабляют своих набегов. Весна у нас робкая. Теплые дни внезапно сменяются холодными, и кажется, что уходящая зима еще может вернуться с полпути. К концу мая сходит снег у подножия гор. В горах он лежит еще не тронутый...

Зимой только одна птица оляпка и оставалась в этих краях. Страшная, с дрозда величиной, черная, с белым брюшком и коротким, задорно поднятым хвостиком, на высоких, стройных ложках... Смешная такая. Ходит по грудам камней, не бегаёт, а именно ходит. Вберется на крупный гладкий камень, покивает головой и бежит дальше. Весной начинают появляться другие птицы, маленько, чуть крупнее воробья, белые — пуночки. А в кустарнике, по нижним склонам гор, щебечут варакушки — северные соловьи...

И самое главное — солнце! Оно показалось не сразу. Сначала ярче пламенел горизонт в полуденные часы,

потом стало показываться и солнце, но не надолго, на минуты. Потом все дольше, дольше...

Вот и пришла к нам весна.

Загрохотали горные речки, помчались стремительные потоки растаявшего снега, чуть заметно зазеленели деревья.

Я помню, однажды мы пошли со Светланой в горы. Все уже было кончено между нами. Мы присели на камни. Я показал Светлане ель своеобразной формы, растущую на склоне горы. Здесь она имела характерную узкую, почти цилиндрическую крону. А выше, на открытых для ветров склонах, ель выглядела уже иной. У нее была почти голая вершина, но ниже по стволу, почти у самой земли, образовалась крона, похожая на куполообразный шатер.

— Знаешь, как называется эта ель? — спросил я. — Ель в юбке. Ветры убили ее вершину, ствол совершенно голый, а внизу снежный покров охранял ветки от смертоносного ветра. По высоте этих «юбок» можно определить толщину выпадающего снега...

Светлана смотрела вверх, на ели. Они походили на флюгеры. На стороне ствола, обращенной к северу, как правило, не было ветвей. На южной же стороне сохранилась редкая, остроконечная растительность. Это и придавало дереву сходство с флюгером.

Но чем выше, тем обнаженнее становились деревья. Казалось, что они с трудом, из последних сил, взбираются к вершине. С каждым шагом все труднее приходится ели, ветры бьют, хлещут ее и в конце концов раздевают донага.

Ближе к вершине росла одинокая ель. Как она забралась туда? И ветры наказали ее за смелость, исклестали, искривили ствол. Она не рассчитала сил, легкомысленно забралась в зону ветров, но выстоять уже не смогла. И теперь ель умирала...

— И спуститься не может, — задумчиво сказала Светлана.

— Человеку больше повезло, — ответил я, — он не только идет вперед, но может и отступить.

...Приближался момент сбойки, соединения западной и восточной штолен туннеля. Предстояло еще расширить туннель для прохождения поездов, смонтировать электрооборудование, сигнализацию, уложить железнодорожный путь.

Но в строительстве туннеля сбойка всегда знаменует и символически, и по существу победу, покорение горы.

Близость этой победы ощущалась на нашем участке особенно радостно, потому что именно нам управление комбината предоставило право сбойки.

Вопрос о том, кому будет предоставлена честь обрушить последние метры породы, разделяющие штольни, волновал нас все последнее время.

Еще совсем недавно, месяца два-три назад, все были уверены, что сбойщиком будет западный участок.

Но изо дня в день, из недели в неделю наш коллектив начал обгонять западный по темпам проходки.

Западный выполнял нормы, мы перевыполняли их. Казалось, что на западном участке у людей иссякли силы, что они, достигнув предела, большего дать уже не в состоянии. Мы победили и получим право сбойки.

В доме приготовления к большому празднику чувствуются уже с утра.

На нашем участке деятельное, радостное и вместе с тем чуть тревожное ожидание овладело каждым из членов нашего маленького коллектива тотчас же, как стал известен приказ комбината.

Смена, которой приказ был прочитан в забое, под треск бурильных молотков, дала к концу работы высшую проходку. При выходе из штольни рабочих ждали корреспондент и фотограф комбинатской многотиражки.

На другой день на участок прибыли представители районной и областной газет. Директор комбината два раза в сутки приезжал на участок. Фалалеев не вылезал из штольни и похлопывал меня по плечу, точно между нами ничего не произошло. Маркшейдерская служба к концу каждой смены определяла расстояние, разделяющее оба участка.

Какой смене выпадет честь забурить и взорвать последние метры, разделяющие штольни, — вот вопрос, который занимал бурильщиков и грузчиков.

«Сколько? Сколько прошли? Сколько осталось?» — спрашивали люди новой смены у предыдущей. «Сколько?» — спрашивал взгляд рабочего при встрече с маркшейдером. И каждый мысленно прикидывал: может быть, ему, его смене выпадет счастье сказать: «Туннель проложен!»

Близость и конкретность цели разожгли соревнования между сменами. Даже сменные вахтеры, стоящие у входа в штольню, соревновались между собой в количестве вывезенных из штольни вагонеток с породой, хотя это от них и не зависело.

Наконец до сбойки осталось всего пятнадцать метров. Работы на западном участке были приостановлены, чтобы сбойщики при взрывах не поранили кого-либо на противоположной стороне.

В эту ночь маркшейдер сообщил, что до сбойки осталось всего двенадцать метров.

И хотя работающим в эту смену было ясно, что сбойку произведет следующая, утренняя смена, все же каждый из них надеялся на чудо и верил, что двенадцатиметровая стена рухнет именно в эту ночь. Люди думали: «Кто может помешать бурильщику забурить шпур поглубже, а запальщику заложить побольше аммониту? А там иди разбирайся, почему сбойка произошла раньше предполагаемого срока...»

Наконец шпур пробурен, аммонит заложен. Прогротоли взрывы. Вентиляторы продули взрывные газы, и все устремились к забою. Но как ни быстро бежал я по штольне, рабочие ночной смены и те, что пришли их сменить, опередили меня. Они бежали к забою, не дожидаясь, пока воздух очистится: одни с надеждой, что сбойка уже произошла, другие — что победу добудет их смена.

После отпалки сбойки еще не произошло. К работе приступила утренняя смена.

Теперь уже всем было ясно, что в эту смену рухнут последние пять метров камня, разделяющие обе части туннеля.

И те, кто работал, и те, кто наблюдал за работой, — все сосредоточенно молчали. В полдень, обернувшись, я увидел, что в туннеле скопилось все комбинатское начальство. Директор, начальник Управления строительства, секретарь парторганизации стояли в некотором отдалении, не желая отвлекать работающих ни своим появлением, ни вопросами.

Меня удивило отсутствие Светланы. Я обнаружил его внезапно и никак не мог вспомнить, сколько часов мы не виделись с нею.

Мне показалось, что Светлана только что была здесь. Но потом я понял, что ошибаюсь: Светлана, насколько

я мог вспомнить, не появлялась в штольне со вчерашнего вечера. Вероятно, спит после смены. Я решил послать рабочего предупредить ее о приближающейся сбойке.

До сих пор не помню, осуществил ли я свое намерение или, поддавшись общему волнению, забыл о нем. Впрочем, теперь это уже не так важно.

В этой смене бурили Агафонов и Нестеров.

Несколько часов назад, когда кончали работу бурильщики предыдущей смены, Агафонов уже стоял за их спиной. А теперь, точно сросшись с выбивающим частую дробь бурильным молотком, стиснув зубы, Агафонов номинал пулеметчика, решившего стоять насмерть.

Он снял с себя ватник, рубаху. Буровая пыль покрыла его тело сплошной серой рубашкой.

И вдруг Агафонов как-то разом подался вперед и, по выпуская из рук молотка, упал грудью на стену забоя.

Он тут же вскочил и закричал на всю штольню:

— Пробурил! Ребята! На ту сторону пробурил!

И стал выдергивать бур из забоя. Теперь уже все бросились вперед, стараясь что-нибудь разглядеть сквозь образовавшуюся узкую дыру. Но ничего не увидели. Тогда Агафонов схватил воздухопроводный шланг и стал запикивать его в пробуренное отверстие. Видимо, на той стороне шланг подхватили и потянули; он вырвался из рук Агафонова и змеей пополз в дыру.

Я схватил конец шланга, поднес его ко рту и крикнул:

— Эй! Товарищи! Кто там на западном?!

И тотчас же приложил шланг к уху. Глухо, точно из колодца, до меня донеслись голоса.

— Отвечают! Отвечают! — закричал я.

Все наперебой стали вырывать у меня шланг, переговариваясь «с той стороной», шутить, поздравлять...

Казалось, в штольне все оставалось по-прежнему: так же тускло горело электричество, так же светились капли воды на каменных стенах и свисала с потолка белесая плесень. И тем не менее всех охватило восторженное чувство, и все, что окружало нас, казалось новым, светлым, торжественным.

Кажется, Агафонов первым сообразил, что зря уходит драгоценное время. Он отнял у бурильщиков шланг и крикнул на «ту сторону»:

— Уходите из штольни, товарищи! Скоро будем пахать! Через часок встретимся!

...Наконец бурение было закончено. Пришло время взрывников. Мы торопливо зашагали к выходу.

— Волнуешься, начальник? — спросил меня директор комбината.

— Очень.

— Что ж, дело естественное.

— Беспokoюсь, вывел ли Крамов своих людей из штольни? — сказал я.

— Конечно, — ответил директор и добавил: — Только Крамова-то на участке уже нет.

— Как нет?! — воскликнул я.

— Уехал. Не удалось вам доругаться, — усмехнулся директор. — Телеграмма пришла из главка: немедленно откомандировать в распоряжение министерства, куда-то там его назначают. Сегодня и отбыл.

Как это могло случиться? После отъезда Хомякова комиссия по расследованию причин гибели Зайцева, ранее давшая заключение в пользу Крамова, возобновила свою работу. Помню, когда я пришел к директору рассказать о том, что узнал от Хомякова, директор сказал:

— Разные ползут слухи... Надо доследовать.

Видимо, Хомяков не одному мне высказывал свои подозрения.

И вот теперь Крамов уехал. Как же так?

— А дело Зайцева? — громко спросил я.

Директор пожал плечами.

— Перешлем все материалы следствия в главк.

Ноги мои внезапно онемели. В голове стучало: «Уехал! Сбежал! Побоялся расплаты!»

Когда Агафонов нагнал меня, я схватил старика за руку.

— Уехал Крамов! Сбежал! Министерство его отозвало!

— Ну и шут с ним, воздух будет чище, — ответил Агафонов. Видимо, мысли его были далеки от Крамова и всего того, что с ним связало.

Я снова вспомнил о Светлане, но не мог верить в ее отсутствие, не мог понять, как она может оставаться в своей комнате в такую минуту.

«Я должен пойти за ней, привести ее, — сказал я себе. — Ведь в этом туннеле заложен и ее труд. Может ли она лишаться себя такой радости?!»

В этом смятении чувств и мыслей я выбежал из штольни и бросился к нашему дому.

Все обитатели его толпились в этот час у входа в штольню. Дверь в комнату Светланы была слегка приоткрыта.

Я постучал. Никакого ответа. Открыл дверь. В комнате горел свет. Она была пуста. Я бросил взгляд на угол, где всегда стояли чемоданы Светланы. Их не было.

На столе лежал конверт. Я схватил письмо.

«Дорогой и по-прежнему любимый Андрей! — писала Светлана. — Я уезжаю ночным поездом. Сделала я это потихоньку, прости. У меня нет сил прощаться с тобой... Даже на это у меня нет сил...»

Я уже один раз обманула тебя, теперь второй раз. Что ж, разом больше, разом меньше...

Я обманывала тебя вольно и невольно, Андрей. Первый раз это случилось, когда приехала сюда и поверила в свой избалованный порыв.

Но вскоре я поняла, что мне суждены лишь «благие порывы». Я поняла это, когда наступила зима, когда зашвыряли ветры, когда погиб шофер, когда нас завалило в штольне... Я поняла, Андрей, что самое сильное, самое непреодолимое желание мое — это бежать, бежать отсюда, бежать в привычную обстановку, туда, где после сумасшедшей гонки на лыжах можно отдохнуть среди друзей и почувствовать себя счастливой. Я поняла это, Андрей, но не сказала тебе прямо. И это был мой второй обман.

И только в одном я никогда не обманывала ни тебя, ни себя: я любила тебя и хотела бы любить всегда. Но у меня нет сил на такую любовь. Я убедилась, что любить тебя — это значит на всю жизнь обречь себя на бури, метели, обвалы... Нет у меня на это сил, Андрей!

Теперь о Крамове. В тот страшный для меня вечер ты спросил, люблю ли я его?

Нет, мой Андрей, я не люблю его, больше, я презираю его! И все же мне казалось — да, мне казалось! — что с ним мне легче, он более понятен мне и привычен.

Я почувствовала это с первых же дней знакомства с Крамовым и испугалась самое себя. Поэтому я избегала Крамова, гнала его от себя. Но напрасно. Он сразу понял меня, понял, что я не та, какой хочу быть. И, как всегда, играл наверняка. Я не хочу сейчас осуждать Крамова —

в моем положении это было бы слишком мерзко. Но я хочу, чтобы ты помнил: теперь я знаю, кто ты и кто Крамов.

Я не хочу и не могу говорить сейчас о Крамове. Но тебя я люблю. И если бы существовал бог, то я молила бы его дать мне силы для этой любви. Но бога нет, а надеяться на себя бесполезно.

Я не знаю, куда сейчас еду... И все же должна уехать. Я не дезертирую. Директор комбината разрешил мне уехать. Я умолила его отпустить меня. Ты сможешь это проверить. Директор понял, что творится со мной. Словом, я уезжаю не самовольно. Разумеется, это ничего не меняет.

Забудь меня, Андрей, и прости.

Светлана»

Я стоял неподвижно. Мне показалось, что время остановилось и все в комнате Светланы застыло, омертвело.

В эту минуту я услышал взрывы и кинулся к двери. Ворвавшись в штормовую, я догнал людей, бегущих, вопреки всем правилам, к забою, еще окутанному облаком взрывной пыли и едким газом. Я забыл обо всем — о письме, Светлане, Крамове, обо всем на свете. Напряженно, до боли в глазах, я вглядывался в щебенистую, занавесом висящую пыль. Осуществлен ли пролом, произошла ли сбойка? Впрочем, о совершившейся сбойке можно было догадаться по тому, что пыль не наступала на людей, а, ввинчиваясь штопором, медленно уходила в забой, в образовавшееся отверстие.

Но мне хотелось собственными глазами убедиться в том, что сбойка произошла.

Я был готов кинуться в тучу пыли. Но вдруг все остановилось. Из медленно рассеивающейся пыли появился человек. Чумазый, с взъерошенными волосами, сп высунулся по пояс в дыру сбойки и растерянно, чуть удивленно глядел на людей.

Какое-то мгновение все тоже недоверчиво и растерянно глядели на этого человека. Но тут кто-то крикнул: «Ура!» Человека подхватили под руки и буквально вытащили через пролом на восточный участок. Теперь все увидели над грудой взорванной породы большое отверстие и мелькающие в нем лица, освещенные шахтерскими лампочками.

И тогда люди устремились через пролом, на ту сторону. Лезли торопливо, подталкивая друг друга, обдирая руки и колени об острые выступы породы...

Кто-то схватил меня и тряс за плечи. Мне жали руки, и я хватал за руки всех, кто был рядом.

— Арефьев! — прокричал откуда-то директор комбината. — Тебе, имениннику, слово!

— Товарищи! — крикнул я.

И вдруг почувствовал, что не могу говорить. Точно железный обруч сжал мне горло...

Словом, я так и не смог произнести речь. Да она и не была нужна. Фалалеев крикнул:

— Ура строителям туннеля!

И все закричали «ура!», и казалось, что кричат не только люди, но и каменные стены туннеля...

Я незаметно пробрался между рабочими и вышел из штольни. На площадке было пустынно. Один я стоял здесь. Все окна нашего дома были открыты настезь в этот теплый день, и только одно окно оставалось темным. И только я один знал, что в пустой комнате Светланы днем горит свет и опущена штора.

И вдруг кто-то сзади обнял меня. Я вздрогнул и обернулся. Передо мной стояли Трифонов и Агафонов.

— Не дело это, парень! — весело укорил Агафонов. — В такой момент удрал, людей бросил!

— Она уехала, товарищи, — тихо сказал я.

— Знаю, — проговорил Агафонов, — вещи ей вчера до машины нес. Да плюнь ты на нее, Андрей, не пара она тебе! Сердцевина у нее гнилая. Эх, — продолжал он с горечью, — что за молодежь нынче пошла! Молодая девка, при советской власти выросла. А во что выросла?.. Идем в туннель, тебя ждут!

Я медленно поднял глаза на Агафопова и проговорил:

— Нет, старик, нет, не так все просто в жизни. Вот ее нет, нет Светланы. А ведь я люблю ее, Агафоныч, до сих пор. А ты ненавидишь ее.

— Да гнилье она! — крикнул Агафонов. — И за тебя и ее кляну! Измучила она тебя, год жизни отняла...

— Год жизни? — переспросил молчаливый до сих пор Павел Харитонович. — Брось, старик! Он, если хочешь знать, этот год жизни с бою взял, вот что.

— Товарищ Арсёв, товарищи! — закричал появившийся из штольни бурильщик Нестеров. — Да где же вы? Народ вас спрашивает...

Несколько секунд я стоял, молча глядя на черное окно Светланы. Потом мы пошли в туннель.

Бывает так.

Человек идет по дороге, спотыкаясь, падая, с каждым шагом теряя силы и думая лишь о том, как длинна эта дорога. Он добирается до конца пути измученный, с усталым сердцем и пустыми глазами. Он шел по дороге, потому что она сама вела его. Он шел в никуда.

Но есть хозяева дорог. Эти люди идут под дождем и солнцем, сквозь лесные завалы, сквозь горы через туннели, которые они прорубают. Эти люди тоже спотыкаются и падают, получают раны, солнце видит их улыбки, и ветер осушает их слезы.

Но эти люди знают, зачем и куда идут. И каждый километр пути и каждый год жизни обогащает их душу, разжигает их желания, обостряет зрение...

Я хочу идти рядом с ними.



**ДОРОГИ, КОТОРЫЕ
≡≡≡ МЫ ВЫБИРАЕМ**

СОДЕРЖАНИЕ

Год жизни. *Повесть* 3
Дороги, которые мы выбираем. *Роман*.
Часть первая 207
Часть вторая 383

Печатается по изданию „Советский писатель“
Москва, 1961

Чаковский Александр Борисович

ГОД ЖИЗНИ

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

Редактор *О. А. Петтинен*

Оформление художника *В. Н. Вахрамеева*

Художественный редактор *Р. С. Киселева*

Технический редактор *Л. В. Шевченко*

Корректор *Е. А. Ульянова*

*

Сдано в набор 25/VI 1963 г. Подписано к печати
14/X 1963 г. Бумага 84×108^{1/2}. 16,0 печ. л. 26,24 усл.
печ. л. 27,52 уч.-изд. л. Изд. № 107. Тираж 100 000.
Заказ № 821. Цена 98 коп.

Карельское книжное издательство
Петрозаводск, пл. им. В. И. Ленина, 1

*

Сортавальская книжная типография
Министерства культуры Карельской АССР
Сортавала, Карельская, 42

**КАРЕЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО**

Вышли из печати и имеются в продаже
следующие книги:

- Г. Николаева.** Битва в пути
- А. Игнатьев.** 50 лет в строю
- С. Голубов.** Когда крепости не сдаются.

**КНИГИ МОЖНО КУПИТЬ
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ КНИГОТОРГА**